



ЕЛЕНА АРИФУЛЛИНА

ВЗГЛЯД
СКВОЗЬ
ПАЛЬЦЫ

A horizontal band of blue water with a white-capped sailing ship in the center, positioned behind the middle word of the title.

ПРЕМИЯ «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» ЗА ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ

Елена Юрьевна Арифуллина

Взгляд сквозь пальцы

Серия «Суперпроза»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40995091
Взгляд сквозь пальцы: АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-113352-8

Аннотация

У Ольги Вернер, врача из курортного черноморского городка, больше нет тени. Но у нее осталось мужество – мужество отчаяния. Ей нужно спасти себя и своих детей, переиграть могущественного противника и вспомнить, как это – обрадоваться по-настоящему. У нее в запасе только сорок дней, а потом...

Отступить некуда. «Исполнишь решимости и действуй – это выбор благородных». Так сказано в книге, которую Ольга никогда не читала, но почему-то знает наизусть.

Увидеть мир таким, каков он есть, можно только сквозь пальцы.

Елена Арифуллина

Взгляд сквозь пальцы

© Елена Арифуллина, текст, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Тебе – как все и всегда

Я осталась бы человеком, живи я этажом ниже.

Все было как всегда: в руке огромный пакет с продуктами, на плече сумка, ноги подкашивались после приема на полторы ставки. Еще чуть-чуть – и я открыла бы свою дверь, сбросила туфли и поставила чайник.

На лестничной площадке лежала грудa грязного тряпья. Бомж. От резкой вони защипало в носу. Стараясь дышать неглубоко, я обогнула его и только поставила ногу на ступеньку, как из груды выстрелила грязная рука и цепко ухватила меня за щиколотку.

– На! – твякнул металлический бесполоый голос.

Ощущение было такое, словно я попала в капкан. Задышавшись от вони и чувствуя, как к горлу подкатывает комок, я рванулась так, что вся грудa засаленного тряпья поехала за мной. Хватка мгновенно ослабла, я вырвалась, через две

ступеньки взлетела на этаж выше и выдохнула, только когда захлопнула за собой железную дверь.

Первым делом я бросилась в ванную и старательно оттерла щиколотку спиртом, потом долго стояла под душем. Казалось, едкая вонь пропитала кожу, въелась в волосы. А противная внутренняя дрожь отпустила только после двух чашек чая с лимоном, куда я щедро плеснула коньяка.

По коридору процокали когти, и Макс явил мне улыбающуюся заспанную морду.

– Дрыхнешь, дармоед, – сказала я, стараясь выразить голосом начальственное недовольство. – Хозяйку тут черт знает кто за ноги хватает, а ты хоть бы гавкнул.

Но умудренную жизненным опытом таксу на бобах не проведешь. Макс завалился на спину и подставил мне пузо. Когда я попыталась не отреагировать, он заколотил по полу хвостом и звучно чихнул от поднявшейся пыли. Угрызения совести (вторую неделю полы не мыты!) растаяли от собачьей улыбки, и я взялась чесать подставленное пузо, приговаривая: «Вот за что его любят?»

И тут меня осенила мысль: Дашка! Через час она должна прийти из школы, а этот... все еще тут? Может быть, ушел? Я сунула ключи в карман махрового халата, поправила полотенце на голове и вышла на лестничную площадку.

Как всегда, я выдавала желаемое за действительное. «Этот» все еще был тут. Мало того, он лежал все в той же позе, и рука так же торчала из лохмотьев.

Ощущая, как в желудке наливается холодом тяжелый ком, я положила в карман мобильник и перцовый баллончик, натянула хирургические перчатки и оставила дверь приоткрытой, чтобы успеть захлопнуть ее за собой, если что.

Если – что?

Пульса на тощем грязном запястье не было. И на сонной артерии тоже. И зрачки уже расширились, поглотив почти всю темно-коричневую радужку.

Все.

Грязное смуглое лицо, широкие скулы, глаза с эпикантусом. Кореец, узбек, китаец? Какая разница. Человек... был.

Я поднялась домой, набрала 03, услышала знакомый прокуренный голос диспетчера и сказала:

– Валя, это Ольга Андреевна. Пришлите труповозку. Бомж, у меня в подъезде. Нет, сейчас. Дочка должна из школы прийти.

– Пипец... – меланхолично резюмировала Валя и отключилась.

Труповозка подъехала неожиданно быстро. Фельдшер Михаил Васильевич сноровисто проверил отсутствие признаков жизни и махнул санитарам. Зататуированный Славик, которого я полгода назад выводила из белой горячки, и кто-то новенький – коренастый, с тяжелым неподвижным взглядом – стали разворачивать древние брезентовые носилки.

– Может, чаю, Михаил Васильевич? – сказала я. – И пи-

сать у меня за столом удобнее.

– Нет, Андреевна, спасибо, – хмыкнул фельдшер. – Доктор Вернер приедет, шепнут ему, что я тут у вас чай гонял, и что? Заревнует и пришибет!

Ах ты старый пень! Мышиный жеребчик хренов! Охота тебе лишний раз намекать на мое соломенное вдовство и забывать о субординации! Такие вещи спускать нельзя.

– Пришибет, – медовым голосом согласилась я. – И как же мы без вас, Михаил Васильевич? На кого нас покинете? На всех этих, без году неделя, прошлого года выпуска, что в вену с третьего раза попадают? А с вами как за каменной стеной. Так что чая не будет.

Васильич слегка притух. Он-то, конечно, имел в виду, что муж пришибет меня. Но представил себе другой вариант развития событий и поскучнел.

Со двора засигналила труповозка. Славик и новенький уже засунули носилки внутрь, перекурили и не желали ждать, пока шеф изощряется в остроумии.

– Спасибо, что быстро приехали, Михаил Васильевич. А то жара какая стоит... – закрепила победу я.

– Да, достала, блин, жара, – ответствовал Васильич и ссыпался вниз, в догорающее пекло сентябрьского дня, к раздраженно сигналившей труповозке.

Когда я выглянула в окно, пятно тени от старой акации уже накрыло скамейку с развалившимся под ней рыжим котом, а в арке дома напротив показались две фигурки: одна

в клетчатой юбке с красным ранцем, другая в синих шортах и тельняшке, с кислотно-оранжевой обезьяной Анфисой под мышкой.

И что Катька нашла в этой уродине? Нет же, вцепилась как клещ. Пришлось купить. И теперь она спит с ней, ходит с ней в садик и вообще редко выпускает из рук... Симптоматика настораживает...

А Дашка молодец, забрала сестру из садика без напоминаний. И по дороге вроде не поцапались.

Раскатилась двухтактная дрель звонка, заглушенная басистым лаем Макса.

– Ты что, ключи забыла? Катька, Анфису надо постирать. Макс, место! Плохая собака! Гавкучий пес!

Как об стенку горох. Две пары ног и две пары лап пронесли по коридору, хлопнула дверь детской, и там начался обычный вечерний бедлам с визгом, лаем и топотом.

Вечер потек по обычной колее: накормить, загнать в ванную, путем сложных дипломатических переговоров добиться твердого Катькиного обещания постирать Анфису в выходные.

– Как только встанешь, сразу ее стирать!

– Не стирать, а купать!

– Хорошо, купать, только быстро, и сразу на балкон, по такой жаре она уже к вечеру высохнет, и ты будешь с ней спать!

– Ну ла-а-адно...

Когда Макс чуть не волоком тащил меня на вечернюю прогулку, я была при последнем издыхании и, вяло болтаясь на другом конце поводка, могла только тупо размышлять, почему десятикилограммовая такса волочит мои пятьдесят пять килограммов, почти их не замечая. И что было бы, будь на противоположном конце поводка прицеплен ротвейлер. Или дог. Или алабай. С тем же успехом меня мог бы заменить воздушный шарик.

Я была готова думать о чем угодно, лишь бы не о том, почему нет писем от Генки.

На кухне нас ждали горячий чайник, полная Максина миска и понурая Дашка, притулившаяся на краю кухонного уголка.

– Ты чего надулась как мышь на крупу? – спросила я, наливая себе чай.

– Да так...

Тишину нарушали только жизнерадостное чавканье Макса и капающая из крана вода.

– Элька на день рождения пригласила, – безразлично сказала дочь.

– И когда?

– В воскресенье.

– Сколько тебе надо на подарок?

– Я не пойду.

– Что, будут гламурные?

Гламурными Дашка называла группу одноклассниц, которые на уроках делали маникюр, дотошно изучали «Космополитен» и слушали музыку. Путем титанических позиционных боев с участием директора и двух завучей их удалось обязать пользоваться наушниками. И то хлеб. А то учителя не было слышно.

Если это гимназия, в которую Дашку взяли по конкурсу, что же делается в обычных школах. И каково будет учиться Катьке?

– Нет, Элька весь класс пригласила, – сказала Дашка все так же безразлично.

Похоже, безразличие ей дорого давалось. Хорошенькая и веселая, умница Элька Дашке нравилась. Любящие родители-греки назвали дочь Элладой, но никто ее иначе как Элькой не называл. Пробовали называть Ладой, но за этим именем стоял образ русой голубоглазой славянки в цветочном венке. Смуглая, кареглазая, курчавая Элька этому образу никак не соответствовала. Дашке он подходил больше, но та стала Дашкой еще в моем животе. Не Дарьей, не Дашенькой. Дашкой – скрытной, упрямой, сильной и надежной. В этот класс они пришли одновременно, два года назад. Элька вписалась в стаю легко, она была своя, местная. А Дашка – нет. Она и сейчас оставалась в классе сама по себе, и это ей, похоже, давалось все тяжелее и тяжелее. Еще бы, пятнадцать лет, переходный возраст...

– Я сказала, что не могу. Что ты на дежурстве, а Катьку

не с кем оставить.

Я быстро прикинула в уме. Из родителей Дашкиных одноклассников больше никто в больнице не работает. Будем надеяться, что ложь не выплывет.

– Не хочешь идти – не ходи, а врать-то зачем?

Я уже понимала – зачем.

– Элька говорит, ей гостевой домик построили – гостей там принимать. И купили двух павлинов, они по участку ходят. С ними можно будет фотографироваться. И нужно принести с собой купальник: кто хочет, может купаться в бассейне. Будут шашлыки и живая музыка. Научат танцевать сиртаки. И Катьку, говорит, приводи, ее мама разрешает. У Эльки тоже младшие: сестра и брат. Няня за ними и за Катькой присмотрит. А домой потом ее папа отвезет.

Н-да-а-а... Гламурненько. Да нет, просто щедрое южное гостеприимство, праздник, на котором Дашкина ровесница может почувствовать себя взрослой девушкой, хозяйкой бала. Вот только потом нужно будет приглашать ее на Дашкин день рождения. А приглашать некуда.

– А ты что?

– А я сказала, что ты не разрешаешь Катьку таскать по гостям, она соскучится и будет всем мешать, потом станет плакать и проситься домой.

Ага. А еще она не выпускает из рук Анфису, на которую уже смотреть страшно. И постирать проклятую обезьяну удастся, дай бог, только в то самое воскресенье. И эта ис-

теричная привязанность к Анфисе мне нравится все меньше и меньше.

Мои мысли сразу оборвались, когда я увидела, что Дашкины глаза полны слез.

– Мам, – сказала она полушепотом, – когда у нас будет своя квартира? Ведь была же у нас квартира в Красноярске, зачем мы сюда переехали? И когда вернется папа?

Из-за вас с Катькой мы сюда переехали, хотелось мне закричать благим матом. Из-за вас, из-за того что у тебя формировалась астма, а Катьке поставили тубинфицирование! Из-за того что ты не могла вынести загазованного черт знает чем родного красноярского воздуха, надрываясь от сиплого кашля! Ингалятор стоял на тумбочке в прихожей и еще один такой же в школьном медпункте! А впереди маячили гормоны и инвалидность!

И из-за того что в нашем подъезде, оказывается, жил-поживал больной с открытой формой туберкулеза. Он не собирался тратить остаток жизни на лечение, а не на водку. И это его плевки украшали лестницу, по которой ходили мы все, но самой слабой оказалась Катька.

Древняя рекомендация: смените климат, езжайте к морю, если хотите спасти детей.

Мы так и сделали. Бросили все: Генкину диссертацию, мои перспективы на заведование отделением, «группу поддержки» – друзей-однокурсников. А здесь нас развели как лохов. И сейчас эта ободранная съемная двушка – на необо-

зримо долгий срок. Если не выпрут. Если заработаю достаточно, чтобы за нее заплатить.

Я обняла Дашку за плечи и прижала к себе – упирающуюся, шмыгающую носом. Макс понял, что в его владениях что-то не в порядке, поднялся со своей подстилки и с шумным вздохом положил голову Дашке на колени.

Только тут она наконец разревелась. А я шептала ей в мокрое ухо:

– Ты же знаешь, построят дом, и там у нас будет своя квартира. Папа вернется, когда денежку заработает. Через полгода – может быть, через год. Черный весь придет, загорелый, только зубы белые. Ты же знаешь, ты ведь у меня совсем большая, взрослая. Что бы я без тебя делала, не знаю. Катька полностью на тебе. Ты и приготовить можешь, и Макс вон какой ухоженный, весь блестит, шерсть атласная. Да погладь ты его, видишь же, как он набивается... Погладь хорошую собаку...

Услышав кодовую фразу, Макс заколотил хвостом. Мокрая Дашкина ладонь легла на собачий загривок, сжала атласное ухо.

– Мам, а папа сможет нам обезьянку привезти?

Господи, какая она у меня еще маленькая.

– Не знаю, может быть. Как таможня пропустит. Давай спать, поздно уже. Завтра я во вторую смену.

Дашка всхлипнула последний раз, взяла Макса в охапку – он тут же лизнул ее в нос – и отправилась в их с Катькой

комнату.

У меня не хватило духа рекомендованным твердым тоном рывкнуть: «Макс, место!» Все равно потом к Дашке залезет, а она сейчас нуждается в утешении. Он бы и к Катьке залез, но не может взобраться на второй ярус кровати. Да и место занято, там Анфиса.

Катька с Анфисой, Дашка с Максом, а я – я опять одна. Кто бы меня утешил. Утешителей-то кругом как собак нерезанных. Рентгенолог Кирилл с масляными глазами. ЛОР Женья тоже не прочь, я же чувствую. Васильич, и тот туда же, старый хрен. Куда конь с копытом...

Пошли все вон. Куплю себе плюшевого медведя, как жара спадет, и буду с ним спать.

Спала я плохо. Невыносимо чесалась щиколотка. Это какой же комар-мутант прорвался через газовую завесу «Комбата», хоть бы не малярийный, с-с-сволочь...

Когда я проснулась, комната была залита солнцем. Скользящий график работы хорош тем, что вторая смена может выпасть на пятницу. Это и возможность выспаться за неделю, и законная отмазка от осточертевших пятиминуток, которые все больше и больше напоминают передачу «Слабое звено». У нас в отделении больные ее очень любили.

И вообще я по натуре сова.

Полоса удачи не прекращалась. Медсестра, веселая хох-

тушка Оксана, отпросилась уйти пораньше и умчалась, довольная, на свадьбу какой-то из бесчисленных родственниц. Вскоре после ее ухода очередная жертва бюрократии в пароксизме счастья от того, что хождение по кабинетам закончилось, получив мою подпись на справке, широким жестом поставила передо мной банку «Якобса» со словами: «Вот, пожалуйста, хоть кофе выпьете!»

Да не пью я кофе! А вот патологоанатом и судмедэксперт Валера пьет...

Так что, пользуясь отсутствием свидетелей, банку я прикарманила.

За два часа лихорадочной писанины я подчистила все хвосты в амбулаторных картах за неделю. «На свободу – с чистой совестью!» Зайти к Валерке – и домой. И пусть будет письмо! И еще пару детоксов на выходных!

Валера сидел в кабинете, курил и смотрел в пространство. Меня он заметил не сразу.

– Привет, – наконец-то отреагировал он. – Какими судьбами? Ты ж на вскрытия не ходишь. От Генки есть что-нибудь?

– Привет. Ты же знаешь, я потому и пошла в психиатрию, что мои больные, как у дерматолога, не выздоравливают и не умирают. По крайней мере от того, от чего у меня лечатся. От Генки давно ничего нет. Кофе угостишь?

– У меня нет. – Он продемонстрировал банку из-под «Пе-

ле», набитую окурками.

– Хороший гость со своим приходит, – и я водрузила на стол эффектную банку «Якобса».

Валера быстро вскипятил крохотный чайник, поставил передо мной щербатую чашку, буркнув: «Не кривись, чистая...» Разлил кипяток и после первого глотка сказал, выдержав паузу:

– И что хорошему гостю надо?

– Информацию. Ты ж у нас лучший диагност. Помнишь, вчера Васильич бомжа привез? Это из моего подъезда. Ты уже вскрыл?

– Спыхватилась, – хмыкнул Валера. – Наверное, уже и похоронили. Сейчас узнаем. Прохоровна-а-а!

На пороге появилась старушка из позапрошлого века. Это тогда носили халаты с завязками-тесемками сзади и фартуки из рыжей компрессной клеенки, давно уже полинявшей и растрескавшейся. И нарукавники из нее же.

Старушка выглядела лет на сто с гаком: пергаментная морщинистая кожа в «гречке», черепаши складчатые веки и шея. И темные глаза, видевшие, казалось, столько, что больше уже и незачем.

Запах, который сопровождал старушку, был хорошо знаком – от него между лопатками поползли мурашки и захотелось бежать отсюда сломя голову.

Я схватилась за чашку и принялась цедить кофе, чтобы перебить запах тления, формалина и еще чего-то страшного.

– Что, Валерий Иванович? – между тем спросила старушка.

– Горкомхозовские приезжали?

– Приезжали, забрали всех своих. Вчерашнюю и тех двоих. Сейчас только хозяйские остались.

– Вот и ладно, а я уже думал, опять надо звонить, лаяться. Кофе будешь?

– Спасибо, я потом. Одного завтра забирают, одежду привезли, пудру, румяна...

– Ну как хочешь.

Старушка безмолвно ушла.

Мне захотелось открыть форточку и постоять у окна, но я продолжала давиться кофе.

– Ну вот видишь, и концы в воду. Ты, что ли, грохнула?

– Конечно я, а то как же. Ты же знаешь, у меня сезонное обострение. Вою на луну и выхожу на охоту. И вообще я чучела бомжей коллекционирую.

– А серьезно?

– А серьезно меня интересует причина смерти. Нет ли там тубика или чего похуже. Ты же знаешь наши проблемы. Если хоть что-то, хоть подозрение, я лучше сама надену респиратор и весь подъезд залью хлоркой. Пока еще СЭС приедет. А если телегу в СЭС напишешь, чтоб они это сами проделали, с меня коньяк к кофе.

– Успокойся, мать, – сказал Валерка, неожиданно очень серьезно. – Ничего там нет. Просто старость. Такая старость,

что непонятно, как она вообще на второй этаж залезла. Не моложе Прохоровны, – он кивнул на дверь, – а она здесь с пятидесятого года работает.

– Она? – обалдело повторила я. – Так это женщина?

– Была, – поправил Валерка. – Да, а что такого? В такой старости уже все на одно лицо, и мужики и бабы. Так что будь спокойна, старость вещь неизбежная, но не заразная.

– Спасибо, утешил. Только хотела о ней, проклятой, забыть. Но все равно спасибо. Ты у нас точно лучший диагност.

– Работа такая, – ответил Валерка с пафосом.

Я чмокнула его в щеку, на что он пообещал: «Генка придет, все ему расскажу», – и даже улыбнулся. Валерка всегда был веселым и отзывчивым на шутку – несмотря на свою работу. Пока не вляпался в ту же беду, что и мы.

Я вышла из прокуренного Валеркиного кабинета в коридор, наполненный запахом, который принесла с собой Прохоровна. Когда за мной захлопнулась ободранная дверь, показалось, что я вышла из могилы.

Хотя я вышла всего-то из больничного морга.

На скамеечке у входа сидела Прохоровна. Ее наряд теперь дополняли оранжевые хозяйственные перчатки. Она курила, рассеянно поднося ко рту сигарету, зажатую в хирургический зажим. На скамейке ярко горела в солнечном пятне красная пачка «Примы». При каждой затяжке солнце вспыхивало в наборном целлулоидном мундштуке, древнем, как сама Прохоровна. Точно такой остался у нас после Генкино-

го деда, прошедшего с ним от Тулы до Берлина.

– До свиданья, – сказала я Прохоровне. – Извините, имя не расслышала.

Прохоровна уставилась на меня неподвижным черепа-
шым взглядом.

– Анной крестили... – после паузы отозвалась она.

– До свиданья, Анна Прохоровна.

– До свиданья.

Я пошла к воротам, ощущая между лопаток взгляд Про-
хоровны, как ружейное дуло.

Когда из сумки грянула выходная ария Кармен, стало яс-
но, что полоса удач продолжается. Это был позывной анесте-
зиолога Романа. Генка несколько раз оперировал с ним, ви-
дел его в деле и посоветовал согласиться, когда Роман пред-
ложил первый калым. Никто из нас троих об этом ни разу не
пожалел. Роман был надежен, профессионален и молчалив.
Что немаловажно, он весил девяносто кэгэ и имел первый
разряд по дзюдо. А еще его двоюродная тетка держала част-
ную гостиницу. Начинали мы там, а сейчас Романов телефон
известен всему гостиничному сообществу. Со мной он свя-
зывался сам. Видимо, меня считали медсестрой у Романа на
подхвате. И хрен по нему... Свои деньги зарабатываю, а там
хоть горшком назови, только в печку не ставь.

Как всегда, Роман был немногословен:

– Приезжай в «Якорь».

– Один?

– Нет, с женой.

– Буду подъезжать, позвоню, пусть она спустится на ресепшен.

Я опрометью добежала домой, схватила «тревожную» сумку, на ходу проверила ее содержимое. Чуть не споткнулась о Макса, вообразившего, что его сейчас поведут гулять, и под его оскорбленный лай слетела по лестнице, набирая номер такси.

Уже из машины я позвонила Дашке:

– Катьку заберешь сама. Я в ночь, когда вернусь, не знаю. Макса выведи.

– Калым?

– Да.

– Глюк ауф.

Оттого, что она повторила обычную Генкину фразу, которой он всегда провожал меня на «задание», унаследованную от прадеда – силезского шахтера, у меня навернулись слезы.

Глюк ауф – счастливо подняться. Счастливо подняться нам всем из этой ситуации, в которой мы оказались. Из бездомности, из неуверенности в завтрашнем дне, из работы «на унитаэ», а не на перспективу.

Рынок, поворот к универмагу – пора набрать Романа.

– Я подъезжаю, пусть спускается.

– Угу.

Немногословный ты наш... А чего ожидать, у анестезио-

лога-реаниматора пациенты обычно не разговаривают.

Роман ждал в гостиничном холле. Рядом с ним стояла полноватая крашенная блондинка, судорожно тискающая сумочку.

Та-а-ак... Красноватый неустойчивый загар. Осветленным волосам солнце и морская вода не пошли на пользу. Турецкий сарафан явно с базара. Лицо чуть одутловатое, глаза красные – не спала ночь, плакала. Явно вариант «мать моих детей». Золушка. Любовниц и партнеров по бизнесу возят не сюда. А с этой и Черного моря достаточно.

– Рассказывайте, что у вас случилось.

Почему у них у всех такой одинаковый сценарий? Приехали отдохнуть. Два дня спал. Потом пил десять дней подряд. Что пил? Все: пиво, водку, вино, коньяк. Сколько? Не знаю. Много. Последние два дня не пьет. Не спит. Заговаривается. Озирается, от кого-то прячется. Ночью пытался убежать, еле поймала на лестнице. В номере – ну, сами увидите. Нам уезжать скоро. Помогите. Я заплачу сколько надо.

Я посмотрела на Романа, стоящего чуть сзади Золушки. Он молча опустил веки – финансовые вопросы улажены.

– Раньше была когда-нибудь «белочка»?

Голубые глаза дернулись влево-вниз, но она тут же восстановила контроль.

– Нет, никогда. Он вообще очень мало пьет. Только пиво. А врать-то зачем? Никому от этого легче не будет.

– Ну, пойдёмте в номер.

В двухкомнатном люксе все было вверх дном. Пахло потом, перегаром и страхом. Мы втроем едва помещались в крохотном тамбуре. От одного взгляда в полуприкрытую дверь у меня защемило сердце. Здоровый мужик с отечным застойно-красным лицом и налитыми кровью глазами сидел на полу, привалившись к балконной двери, и тянул изо рта невидимую нитку, «сматывая» ее в клубок. Сзади не подойти... Балкон, черт его возьми, – выпрыгнет, и привет!

Я аккуратно прикрыла дверь и, не чувствуя ничего кроме злобы на эту лживую курицу, прошипела:

– Сколько раз была «белочка»? По-настоящему? Ну?

– Три за последние два года.

– В больнице лежал?

– Нет, дома. Нам бы только добраться, там у нас свой нарколог.

– Подшивался?

– Давно еще, мы только поженились. Потом убрал ампулу. Уже пять лет без нее.

– Травмы головы были?

– Три года тому назад разбился на машине, в неврологии лежал.

– Что ставили?

– Закрытую черепно-мозговую.

Час от часу не легче. Ладно, что есть, от того никуда не денешься. Только бы его выманить из комнаты с балконом.

– Оружие у него есть?

– Нет. Ножи я убрала к себе в сумку.

Я оглянулась, ища что-нибудь подходящее, и сунула ей в руки мыльницу.

– Позовите его сюда. Скажите, что ему звонят – ну, кто-нибудь из знакомых. Дайте ему в руки это. Пока он будет говорить, захлопните дверь в комнату с балконом. Дверь сюда не закрывайте. Да, что он ночью говорил?

– Говорил, что тут провода протянуты из стены в стену, как сеть. Ползал по полу под этими самыми проводами. Будто по ним ток идет и они гудят. Меня сукой обзывал, говорил, что у меня кругом любовники...

Тут она все-таки расплакалась. Я дала ей на это несколько секунд и повторила инструкцию.

Роман подобрался. Сейчас был его ход.

– Сережа, тебе Пашка звонит, иди сюда!

– Принеси! – отозвался мужик.

– Он на городской звонит!

– Ёптыть, ни одна сука ничего сама не может... Иду!

Мы с Романом, не сговариваясь, шагнули в туалет и прикрыли за собой дверь, она пошла навстречу мужу, сжимая дурацкую яркую мыльницу.

Сквозь две незакрытые двери мы слушали, как пациент матерно объясняет Пашке, какой он бестолковый мутила, долболоб, и еще много чего – пока не услышали, что дверь в комнату с балконом захлопнулась.

Первым пошел Роман. Увидев его, клиент оторвал от уха мыльницу, по которой общался с неведомым Пашкой, рывком: «Еще один Валькин е...рь!» – и попер на него как танк.

На меня он внимания не обратил. А зря. Когда он замахнулся на Романа, я в лучшем стиле Таськи-санитарки прыгнула на него сзади: наволочку на голову и концы крест-накрест рывком, хлесткий удар по сонным артериям.

Роман нырнул ему под руку и провел свою фирменную подсечку. Клиент рухнул, как свергаемый памятник, и Роман тут же оседлал его, вытаскивая из кармана вязки.

Мощный, налитый медвежьей силой клиент и весил за центнер. Так что наволочку я сняла, лишь когда мы надежно прификсировали его к кровати.

– Он что, занимался чем-то? – пропыхтел Роман, затягивая узлы-констрикторы.

– Борьбой... давно еще... – ответила Золушка.

– Идите в аптеку, купите все по списку, – вмешалась я.

Когда ее босоножки простучали вниз по лестнице, капельница была уже подвешена к форточке, клиент перестал мычать и дергаться. Роман еще раз проверил давление и пульс и устроился в кресле.

– Ну, вроде процесс пошел, – удовлетворенно констатировал он. – Только объясни: на черта ты ей сунула эту мыльницу? Не проще было дать мобильник?

– Проще, но это параллельная диагностика. Симптом Ашаффенбурга положительный.

– И что это дает?

– Плохой прогноз, тяжелое течение делирия. Органика уже есть: борьба, втыкание головой в пол, с его-то массой, ЧМТ, стационар. Не первый делирий. Вторая стадия алкоголизма. Вся картина, которую мы увидели. И Ашаффенбург положительный. На кафедре нам говорили, что он сейчас почти не встречается, а я чем дальше работаю, тем чаще его вижу. Хреновое у мужика будущее, если пить не бросит. Но это уже не наши проблемы. Ты же слышал, у него свой нарколог есть. Наше дело маленькое: вывести из психоза. Твоя задача – держать давление. Моя – чтобы он получил свою дозу всего, чего нужно. И все.

– И зачем тебе это? – задумчиво сказал Роман. – Зачем тебе эти алкаши и психи?

– Каждый по-своему с ума сходит. Зачем тебе твои полутрупы? Недобитые, резаные, после автодорожек? Почему Генка пару дней не пооперирует и начинает стонать: «Ох, давно я руки в животе не грел!»? И вообще, в медицине нормальные люди не работают.

Роман кивнул и ловко заменил капельницу.

– Подожди, я седуксен добавлю. Три «с»: седуксен, сон, санитары – классическая схема при «белочке».

– А санитары-то кто? – хмыкнул Роман.

– Да мы с тобой, кто же еще. Тебя в любой дурдом возьмут вне конкурса. Хочешь, замолвлю словечко? Здоровенный, узлы вяжешь, как старый боцман...

- Нет уж, только после вас.
- А я уже оттрубила свое в приемном покое, хватит.
- Это там научилась прыгать с наволочкой?
- Да уж, Таська учила будь здоров... Мне до нее далеко.

Таська, маленькая, сухонькая, прокуренная насквозь, с колким взглядом почти бесцветных глаз и грубыми татуировками на цыплячьих ручках. Мой первый учитель, поставивший мне навыки поведения с душевнобольными – жесткими методами, зато навсегда.

- Разуй глаза в затылке!
- Спиной гляди!
- Не вякай под руку!
- Не крутись, не в койке!
- Подвякивай!

Это в переводе с Таськиного означало: смотри боковым зрением, не выпускай больного из вида, не противоречь ему, не поворачивайся к нему спиной, подстраивайся к бреду.

Вычлененные из мата, составлявшего в основном Таськину речь, эти максимы работали. Я их усвоила быстро, потому и жива до сих пор.

Вот такую же «нитку» тянул изо рта, сматывал в клубок Михеев на моем первом сестринском дежурстве. Тянул-тянул – и вдруг потерял... – и, отвлекшись от этого занятия, увидел знакомую обстановку приемного покоя – и меня с ампулой в дрожащих руках. Он начал разворачиваться ко мне

всем телом, не двигая головой, как дикий кабан, с таким же слепым бешенством в глазах...

И тут его окликнула Таська:

– На! – и протянула ему пустую руку с оброненным «клубком».

Я, не дыша, мечтая стать невидимкой, скользнуть за плинтус, словно таракан, следила за тем, как из кабаньей морды снова проступает отечное, красное лицо Михеева. Вот он вновь деловито пощупал у себя во рту – и потянул невидимую нитку, завертел в здоровенных лапах поданный Таськой «клубочек». Я потянулась к шприцу, но сухонькая Таськина ручка вцепилась в мой халат. И только через пару минут, когда Таська ослабила хватку и чувствительно пихнула меня в плечо, я взяла-таки шприц и всадила Михееву в трицепс, чуть повыше упитанной русалки, обвинившейся вокруг якоря.

Он был так занят клубком, что почти не обратил на это внимания. Только потом, когда его, осоловелого, вели в наблюдательную палату, он попытался заехать в ухо санитару, но с Димой-афганцем эти штучки никогда не проходили.

Через полгода Таськина наука первый раз спасла мне жизнь.

Я так и не узнала, кто за ним гнался, что за чудовища роились в его мозгу. Но фельдшер со скорой оставил меня с ним одну в приемном покое, а Дима с Саньком-напарником замешкались где-то в коридоре приемника. Невысокий и жилистый, он был охвачен тем отчаянием, с которым человек

дерется за свою жизнь до последнего. А я, судя по всему, оказалась на стороне его врагов.

Где он спрятал хорошо заточенную отвертку? Почему ее не нашла скорая? Через несколько секунд эти вопросы задавала бы уже не я, а для меня больше ничего не имело бы значения.

Но я успела заорать: «Смотри!» – и ткнуть рукой в воздух за его спиной. Ужас даже и изображать не потребовалось. Он оглянулся – и мне этого хватило, чтобы повернуть трехгранку в замке и захлопнуть дверь за собой. Я увидела бегущих ко мне Санька с Димой, крикнула: «У него отвертка», – и удивилась, почему старая плитка на полу со всего размаха врезала мне по лицу.

Все получили по полной программе: я – нашатырного спирта под нос и пятьдесят граммов этилового в чай, фельдшер со скорой – выговор и лишение «колесных», Дима с Саньком – ведерную клизму от завотделением, он сам – то же самое от главврача...

Борец с чудовищами тоже получил свое, строго по назначениям. И жизнь потекла дальше.

Для Таськи она закончилась через пять лет.

Таська жила в стареньком деревянном домишке недалеко от диспансера, вдвоем с парализованной матерью. Как рассказали потом старожилы отделения, она к нам и пришла потому, что здесь могла работать сутки через трое. На эти сутки за бабкой присматривала соседка – пьющая, но умеренно,

за что ее и уважала вся улица.

Таська пережила мать на полтора месяца. Похоронив ее, она отправилась в отпуск – и в запой, из которого уже не вышла. Помянув мать на сорок дней, она заснула с сигаретой во рту. Высушенный летней жарой дом вспыхнул, как поставленная за упокой свечка.

Обугленный, скорченный в позе боксера манекен – все, что осталось от Таськи, – мы хоронили в складчину.

Спать первым выпало Роману. Он бросил: «Если что – буди», – и мгновенно отрубился. Золушка изредка возникала на пороге, посматривала на мужа, на меня – и вновь исчезала за дверь. Ближе к полуночи уснула и она, а я осталась следить за капельницами, давлением и пульсом. Ну, и за узлами тоже. Ночь стала сереть, когда я потрясла Романа за плечо. Проснулся он мгновенно.

– Опять кровит? Фу-у-у, приснилось... Все нормально?

– Все путем, давление держит. Чайник только закипел. Давай, я пошла спать.

Лучшее средство от бессонницы – работа сутками, жаль только, что в аптеках этого не купишь. Я заснула, едва положила голову на подушку. Показалось, что прошло несколько минут до того, как меня разбудил Роман, но за окном стоял полдень. Клиент мирно спал. Роман оброс щетиной и осунулся, да и у меня вид был не лучше – разве что без щетины. Серое лицо, мешки под глазами – это в двадцать лет после

ночного дежурства достаточно умыться и причесаться. Впо-
ру бежать в салон красоты, чтобы привести себя в прилич-
ный вид. Интересно, попаду ли туда хоть раз до пенсии...

– Ну, что скажешь?

– Нормально. Я пошел посплю. С Антониной созвонился,
к шести она придет.

Клиент выглядел куда лучше и продолжал спать. Я доба-
вила в капельницы все, что полагалось, проверила пульс и
давление. Ну и сердце у мужика, только позавидовать мож-
но. Скоро должен проснуться.

Моя схема кормила нас не первый год, модифицируясь со
временем. Генка обкатал ее в своем «виварии», как он его
называл, и однажды вечером вызвал меня на разговор.

– Оль, ты все-таки умница. Твоя методика работает, ре-
зультаты есть. Что, если будешь ездить на дом, делать де-
токс? Сестру я тебе подберу.

– К алкашам поеду, к наркоманам – нет. Мне голова до-
роже. И как ты себе это представляешь? В газету объявления
давать?

– Сарафанное радио. У алкашей свои средства оповеще-
ния.

Генка всегда держал слово. Нина Ивановна, опытная и
молчаливая, с одного раза попадала в любые вены, не пре-
рекалась и не задавала вопросов, а инициативу проявляла в
разумных пределах. Именно она, после того как мы еле унес-

ли ноги с одного детокса, нашла Пашу – вольника-полутяжа, временно не выступающего после травмы. Нет, Паша не походил на трехстворчатый шкаф, как некоторые наши санитары из психиатрической неотложки. Но захват у него был железный, пальцы как клещи, а удушающие приемы он быстро освоил после консультации у дружка-дзюдоиста и применял их скупно, но эффективно. Мастер-класс по узлам преподавала ему лично я. Слишком часто мы, приехав на похмельный синдром, натыкались на начало белой горячки. Присутствие Паши придало нашему «экипажу машины боевой», как его называл Генка, необходимую стабильность. Работай себе да работай – сутками, из отделения прямиком в неизвестность, черт знает куда, черт знает на сколько, но утром как штык на пятиминутку, потом на обход... Ничего, в могиле выспимся. Как там говорил Соломон Премудрый: «и могила лучше бедности»? А если бедность плавно и неотвратимо сползает в нищету?

Нет, что угодно, только не это!

– Доктор, можно вас спросить? – прозвучал голос Золушки.

– Да, конечно.

– Мы хотели улететь послезавтра...

Я на секунду потеряла дар речи.

– Куда ему лететь? Он еще из психоза не вышел! Вы представляете, как он может отреагировать на перепады давле-

ния? И что он может устроить в самолете? Ехать, только ехать, чем позже, тем лучше – для него и всех окружающих. По правилам, его бы сейчас в стационар положить – на две недели как минимум. Я вас предупредила.

Она вздохнула и ушла.

Клиент проснулся часа через три. Меня из дремы выдернул тихий голос:

– Мамочка...

Золушка мгновенно оказалась рядом с ним:

– Что, что, Сереженька? Что болит?

– Мамочка, что – опять?

– Опять, Сереженька, ты только не волнуйся, все будет хорошо, скоро домой поедem...

Ну что ж, они нашли друг друга, и ни мне, ни кому-либо другому сюда вмешиваться не стоит. Эта жизнь их устраивает. Он может почувствовать себя любимым капризным ребенком, она – жертвенной матерью. Не мне им объяснять, что для взрослых людей это не самые удачные амплуа.

– Как себя чувствуете? Что сейчас беспокоит?

Антонина, опытная и испытанная нами в деле медсестра, явилась минута в минуту. Мы с Романом сдали ей клиента, оставили расписанные по часам назначения, предупредили, в каких случаях стоит немедленно звонить, и потащились по домам, как остатки разбитой армии. На улице Роман скрупулезно разделил на две части полученные от Золушки деньги. С Антониной рассчитаемся позже – и тоже пополам.

– Ну так что, в санитары пойдешь?

– Только с тобой в смену, – серьезно ответил Роман. – Давай, до понедельника.

– Давай.

Залезая под душ, я мечтала только об одном – поскорее добраться до постели. Можно будет выспаться, если не случится экстренных. Или калыма. И проснуться, когда проснется...

Внимание, размытое усталостью и предвкушением сна, вдруг сконцентрировалось на чем-то непривычном, странном и невероятном.

Правая лодыжка была покрыта густыми короткими рыжими волосками. Ощущая, как сердце сжимается от предчувствия такого, о чем лучше не думать, я повернула стопу и на внутренней стороне лодыжки увидела полоску таких же волосков, только узкую и разорванную посередине.

Несколько секунд я тупо глядела на золотящееся под ярким электрическим светом пятно. Потом, старательно оборвав мелькнувшую мысль, достала Генкину пену для бритья, одноразовый станок и выбрила щиколотку. Порывшись в настенном шкафчике, достала ватные палочки и зеленку, аккуратно обвела выбритое место. Дала зеленке высохнуть и обхватила себя за щиколотку.

Моя ладонь заполнила зеленый контур. Да, конечно, пальцы не сошлись на внутренней стороне, это же не запястье.

Отпечаток руки. И я знаю чьей... Кажется, я знаю, что это такое, и не хочу знать.

Завернувшись в махровый халат, пошатываясь, я вышла из ванной. Меня колотила крупная дрожь. В тесном коридоре я чуть не споткнулась о Макса, лежащего точно поперек прохода и с упоением грызущего теннисный мячик.

– Другого места не нашел, скотина, – привычно пробормотала я.

Мне в ответ постучали хвостом по полу.

Я рухнула на кровать прямо в халате, натянула на себя одеяло и провалилась в сон, желая только одного: проснуться поздним солнечным утром, и пусть это невозможное, необъяснимое – нет, объяснимое только одним, таким же невероятным, о чем дико даже подумать, – окажется только сном.

Утро действительно было солнечным. В квартире стояла тишина, и на грецком орехе у балкона ворковали кольчатые горлицы. Вот одна – розово-палевая, с черным «ошейником» – взлетела, блеснув на солнце, села двумя ветками выше и наклонила головку набок, словно ожидая аплодисментов. Казалось, она смотрит на меня и ждет моей реакции.

– Ну, красавица, красавица... – сказала я, удивляясь сама себе.

Ну и что? Ведь с собакой же разговариваю, почему бы и с птицей не поговорить?

Горлица с шумом сорвалась с ветки, мелькнула среди про-

низанной солнцем листвы и скрылась из виду.

Улыбаясь от беспричинного счастья, я вылезла одновременно из халата и из постели, набросила любимый фартук-халатик с голой спиной – и тут вспомнила про вчерашнее. Запуталась в завязках и поясе, зло дернула и только затянула все еще сильнее.

Ощущая противную слабость в коленях, я неловко села на край кровати и застыла на несколько минут. Посмотреть так и не решилась. В конце концов провела ладонью по щиколотке – и не ощутила ничего, кроме прохладной гладкой кожи. Даже в ярком солнечном свете было видно только полосу поблекшей зеленки.

Вот это самое чувство, наверное, испытывают те, кто наконец после перепроверки сомнительного результата получают бланк со штампом «ВИЧ (–)».

Я мгновенно распутала завязки, надела халатик и почувствовала себя молодой, красивой и невероятно счастливой. Это счастье распространялось на все вокруг: на закипающий чайник, солнечное пятно на облезлом полу, любимую гжельскую чашку.

Выпив чаю, я включила ноутбук. Писем не было, но даже это не потушило ощущение беззаботного счастья. Я не хотела его терять, ведь так долго жила без него.

В детской все было ожидаемо. Дашка спала. Макс клубочком свернулся у нее в ногах, а при моем появлении вызывающе медленно встал, потянулся так, что задние лапы по-

тащились вверх подушечками, зевнул во всю пасть и неуклюже спросонок соскочил на пол. Только тут, осознав, что пойман с поличным, завилал хвостом чуть не от самых лопаток и подобострастно плюхнулся в солнечное пятно на полу, подставляя под хозяйскую руку пузо. Весь его вид говорил: «Ну... было, что поделать, было! Не сердись! Почеши!» Сейчас я простила бы ему куда худшие грехи: погрызенную простыню, например. Или замусоленную игрушку, спрятанную в хозяйской кровати. Он мгновенно это просек и, поняв, что гроза миновала, процокал когтями на кухню, к миске.

Слыша, как он шумно лакает воду, я принялась тихонько будить Дашку. Выполнив обязательную программу: почесать спинку, погладить шею, помять плечи, – я отправилась жарить оладушки, а Макс, недвусмысленно принеся поводок, увел Дашку гулять.

Завтрак готов, будим Катьку. В детской по-прежнему было тихо, только с верхнего яруса кровати теперь свисал длинный оранжевый Анфисин хвост – не блистающий чистотой, надо сказать. Я подергала за него и спросила:

– Есть кто дома?

Наверху завозились, хвост убрался, вместо него свесилась заспанная Катькина физиономия.

– А папа приехал?

У меня больно сжалось сердце.

– Нет, ты же знаешь, он еще долго не придет. Тебе приснилось, наверное.

Катька молча слезла вниз, зажав под мышкой Анфису, обследовала спальню, кухню и ванную и вернулась обратно расстроенная.

– Приснилось, – согласилась она, залезая ко мне на колени.

Господи, хоть теперь она наконец оставила Анфису на Дашкиной кровати!

Я тискала уютно угнездившуюся на моих коленях Катьку, дула ей то в одно, то в другое ухо, покусывала за седьмой шейный позвонок, четко выделявшийся на тощей шейке, – все это называлось в нашем доме «собачьи нежности», – а мысли текли сами по себе.

Нечего прятать голову в песок, даже страус так не делает. Ты же видишь, после отъезда отца ребенок чувствует себя беззащитным. Добрые, сильные, знакомые с первых дней руки не вытаскивают из-под одеяла в воскресное утро, не делают массаж под наизусть выученные приговорки. Нет ощущения справедливой и доброй силы, которая всегда рядом, – а оно должно быть у нормального любимого ребенка.

Вот Анфиса и заполнила эту пустоту. И это еще очень легкий вариант развития событий. Кто-то начинает заикаться, кто-то писаться в постель, кто-то боится темноты или еще чего-нибудь.

Да я никак ревную к Анфисе? К ослепительно-оранжевой, лопоухой, с дурацкой физиономией и несимметрично наклеенными где-то в Китае глазами?

На кого мать променяла – на эту уродину?

Смех и грех...

– Катерина, сегодня Анфису будем купать – помнишь, договаривались?

И – чудо! – она согласилась.

Анфиса немедленно отправилась в таз с моющим средством, дико таращась из пены. А я бросилась вытеснять соперницу из Катькиного сердца. И пока Дашка делала английский, мы ели оладушки, читали «Золотой ключик» и играли с Максом в перетягивание собаки. До тех пор пока возмущенные залиvistым лаем соседи не застучали в стенку.

Перед началом учебного года мы торжественно условились, что пойдем на море. Все вместе. На целый день.

Как давно такого не было. Последний раз мы всей толпой выбирались на пляж еще вместе с Генкой...

Когда муж сказал, что собирается на заработки в Африку, я решила, что это шутка. Но нет. Фирма-посредник обещала опытному полостному хирургу от трех до пяти тысяч долларов в месяц. Здесь на полторы ставки, со всеми дежурствами и калымом на «скорой» он едва мог выколотить десять тысяч – и уж, конечно, не долларов.

– А психиатры там не нужны?

– Кому вы вообще нужны... Вот инфекционист и оперирующий гинеколог требуются. А тебя бы я вообще никуда не

отпустил.

– С чего бы это?

– Посмотри на себя в зеркало. Белокожая голубоглазая блондинка – сразу очутишься в борделе.

– В сорок-то лет? Это комплимент...

– Там все равно, лишь бы белая. А ты у меня просто красивая.

– Может, я всю жизнь мечтала о чернокожих атлетах...

Генка звонко щелкнул меня по носу.

– Это пустое сотрясение воздуха. Ты остаешься с девчонками. Загранпаспорт я уже заказал. Тест по английскому прошел. Будем ждать результатов.

Тест оказался сдан с хорошим запасом. И началось: прививки, упаковка всего, без чего не обойтись, вплоть до собственной аптечки, увольнение...

Ночь за ночью мы лежали без сна, глядя на колышущиеся тени от веток, шепотом обговаривая все возможные варианты событий.

Паспорт – всегда при себе... телефон консула... Как к нему добраться... деньги переводить на карточку... Воду пить только кипяченую... Все протирать спиртом... Шляпа... Солнцезащитный крем... очки...

И вот настал тот день, когда мы все поехали провожать его на вокзал. Все, кроме Макса. Генка попрощался с ним как мужчина с мужчиной: долго чесал пузо и рыжее пятно на груди, тербил атласные уши. Макс, вне себя от счастья, сту-

чал по полу хвостом и прихватывал зубами хозяйскую руку. Когда мы присели на дорожку, он тоже сел, преданно глядя то на хозяина, то на поводок. При виде этой картины я чуть не сломалась.

– Может, возьмем его с собой?

– Ты что, он же устроит скандал на вокзале, будет рваться в вагон. Я специально оставил старую тельняшку, не стал стирать. Вернетесь, положи ему на место.

И мы оставили Макса дома, заперли за собой дверь и спустились под неумолчный обиженный лай и скулеж.

Стоя в толчее на перроне, крепко держа за руки Катьку и Дашку, мы почти не разговаривали. Перебрасывались отрывистыми фразами-инструкциями: «Перед тем как улетать – позвони». – «Если вдруг что, аппендицит, не дай бог, – беги к Нестерову, я с ним говорил. Он пообещал, что все сделает. К Мхитаряну – ни в коем случае, у него вечно все нагнаивается».

Мы не знали главного: в какую страну отправит Генку фирма-посредник. Это должно было решиться уже в Москве.

Последний раз обняться, помахать вместе с Катькой и Дашкой вслед поезду. Вернуться домой, к оскорбленному до глубины собачьей души Максу. Взять его на поводок и выйти в сырую беззвездную ночь, послав девчонок спать.

Только теперь я осознала, что Генка уехал, уехал надолго. Ведь по вечерам выгуливал Макса всегда он: «Нечего жен-

щинам по темноте шастать!» Вернувшись домой, я достала ножницы, разрежала оставленную Генкой тельняшку пополам и положила одну половину себе на подушку, а вторую – на Максову подстилку. Ночью пошел дождь. Это к успеху начатого дела, и вообще, дождь в дорогу – это хорошо. Под шум дождя я и уснула, положив голову на Генкину тельняшку.

Утром оказалось, что Макс спал точно так же: положив морду на хозяйскую одежду. Интересно, приснился ли ему Генка, как приснился мне? Во сне мы шли куда-то вдвоем, держась за руки, как подростки, болтали и смеялись.

Как долго это будет только сном?

Генка позвонил вечером. Сказал, что на рассвете улетит на Берег Слоновой Кости – ни больше ни меньше. Ему обещали три с половиной тысячи долларов в месяц плюс бесплатное жилье и питание при больнице, при необходимости – переводчика с английского на французский. Это было меньше, чем он рассчитывал, но, с другой стороны, крыша над головой и отсутствие бытовых хлопот... Фирма-посредник выставила счет за свои услуги. Удалось выбить рассрочку на три месяца. Тратить на себя он будет по абсолютному минимуму, остальное переводить нам. Мы должны быть здоровы и благополучны. Он нас любит.

Через неделю я получила первую электронку: «Vse normalno». А через месяц на мою карточку пришли первые

деньги и аккуратно приходили до сих пор.

Ничто на свете не заставило бы меня тронуть их. Это был шанс выбраться из трясины, в которой мы увязли, вновь обрести собственный кров, хотя до него оставалось еще очень далеко. Продав трешку в Красноярске и унаследованную Генкой однушку в райцентре, здесь, у моря, мы могли купить только скромную двушку. И купили бы, если б не то, что случилось в первый месяц после переезда. На общем собрании больничного персонала главврач озвучил замечательный план. Предлагалось вложить деньги в постройку кооперативного дома в двух кварталах от больницы. Нам предъявили все: проект, договор с фирмой-подрядчиком и документы на земельный участок. И назвали стоимость квартир в будущем доме. На наши деньги мы могли купить огромную трешку с лоджией, может, даже с видом на море.

Авантюрист Генка загорелся сразу. А я уперлась как ишак. Уж слишком играли обертоны в бархатном голосе главврача, слишком честными были его глаза, слишком било в глаза ампула благородного отца. Мой профессиональный нюх кричал: «Беги! Врут!» Но убедить Генку я не смогла.

– Ну посмотри же ты, как у него глаза сразу дергаются во внутренний контроль!

– Ты зациклилась на своих энэлпистских штучках! Когда еще представится такая возможность! Потом сама же будешь локти кусать!

После недели споров я сдалась. Генка отнес деньги,

предъявил мне договор долевого участия и гордо сообщил, что он едва успел – квартир было куда меньше, чем желающих.

Лучше бы он опоздал.

Минуло два года. На огороженном забором пустыре яма под фундамент заросла бурьяном, на сваленных бетонных блоках кучковалась местная алкашня. Несколько врачей, попытавшихся расторгнуть договор и получить деньги, «ушли» из больницы. Остальные поняли, что надо молчать, если хотят работать дальше. А идти было некуда.

Генка почернел и похудел за это время. Я не упрекала его – нам и без того приходилось нелегко. Оба мы пахали на полторы ставки, хватались за любую подработку – и жили, считая каждую копейку. Между тем главврач поменял «Тойоту» на крутой джип, обставил итальянской мебелью особняк и, по слухам, строил гостиницу неподалеку от моря.

Ситуация была патовая. Тайком от Генки я ходила к юристу. Шустрый грек невнимательно, как мне показалось, просмотрел договор, вздохнул и сказал, что видит его не в первый раз и может сказать только то, что говорил моим коллегам и товарищам по несчастью: надо было приходиться до, а не после того, как его подписывали. Договор составлен очень грамотно – и не в нашу пользу. Шансов вернуть деньги ничтожно мало. Рычагов воздействия на фирму-застройщика нет. Надо надеяться, что дом все-таки построят. Когда-ни-

будь.

Тут он оборвал фразу и предложил мне воды.

Давно я не была так близка к тому, чтобы упасть в обморок. Но сил хватило, чтобы заплатить, поблагодарить и выйти из кондиционированной прохлады кабинета в раскаленный вечер, не чувствуя ног, словно на протезах.

В зеркальном стекле витрины я увидела свое отражение – и не узнала себя в белой маске со стиснутым в линию ртом и прищуренными как от ветра глазами. Генке не сказала ничего: он и так казнил себя за то, что поддался соблазну. Ему, с его характером, было невыносимо знать, что он дал себя провести. Если сейчас приняться выяснять, кто первый сказал «э» и кто виноват больше, положение станет совершенно невыносимым. Что бы с нами ни было, мы вместе. И выползти из этой ситуации можем только вместе.

– Выход через полчаса! – объявила я и положила Макс у утреннюю порцию каши с мясными обрезками.

Собрались мы быстро. Вернее, собиралась Дашка. Катя выполняла ее немногочисленные толковые распоряжения, Макс поскуливал от предвкушения Большой Прогулки, а я стирала-купала Анфису. Управились мы почти одновременно. Как только я прицепила Анфису на четыре прищепки (потом подумала и добавила пятую – на хвост) и надела купальник, весь багаж был составлен у двери. Я привычным солдатским движением вскинула на плечо лямку здоровен-

ного пляжного зонта, подхватила тяжелую сумку с остальными шмотками и оглядела свою команду.

Дашка в специальной пляжной футболке до колен, на груди Джек Воробей, на спине Кира Найтли в обрамлении волн, пальмовых листьев и якорных цепей. Катька в синих шортах и тельняшке с аппликацией – дельфин, просунувшийся в спасательный круг. Макс, улыбающийся во всю морду. Ну, и я, конечно.

Когда мы спускались к морю, оступаясь на горячей гальке, утреннее ощущение счастья накрыло меня опять. Сияющий день бабьего лета, пустынный пляж, куда выбирают только местные, знающие про эту укромную бухточку. Мобильник оставлен дома, и впереди целый день. Все, кого я люблю на этом свете, – здесь, рядом.

Кроме Генки.

Уже привычным усилием я прогнала тень тревоги. С ним все хорошо. Если бы что-то случилось, я бы почувствовала. Не смей распускаться. Девчонки заслужили беззаботный день на пляже рядом с матерью – пока ты им еще нужна.

Налетевший ветер облепил бесформенную футболку во круг Дашки, и я вдруг увидела, что нескладного подростка больше нет. А есть девушка с небольшой, но безукоризненной формы грудью и модельными ногами. Талия могла бы быть потоньше, но через год-два бедра станут шире, округлятся – и талия будет что надо.

Почувствовав мой взгляд, Дашка оглянулась, и я, как пой-

манная, торопливо отвела глаза.

Когда я последний раз видела своих детей? Видела, а не просто смотрела на них сквозь усталость и ежедневные заботы? Еще тогда, когда я вынашивала их и рожала, я знала, что они вырастут и уйдут от меня в собственную жизнь. Но уж очень быстро прошли эти пятнадцать лет, превративших пухлого младенца в стройную девушку, а общего у них – только имя, да я, их мать.

– Мам, ты чего?

Катьке всегда выпадало выводить меня из рефлексии в «здесь и сейчас».

– Задумалась что-то...

– О папе?

– А что о папе думать? У него все хорошо, работает.

– А я о нем часто думаю...

– И что же ты думаешь, позволь узнать?

– Да ничего, скучаю... Когда он приедет?

– Кать, ну я же сто раз говорила. Заработает денежку и приедет. Помоги мне лучше зонт вкопать.

Катька просияла: это всегда делала Дашка. А вот теперь она такая взрослая, что ей это можно доверить.

Мы спустили с поводка изнемогающего от нетерпения Макса, и он тут же помчался к линии прибоя: лаять на волны и отскакивать от них, припадая на передние лапы. Привычно разбили лагерь: вкопали зонт, укрепили его камнями, расстелили два старых покрывала, надули матрас... И бла-

женный солнечный день потек своим чередом. Мы с Дашкой буксировали Катьку на матрасе. Дашка и Катька плавали вдоль берега по мелководью вместе с Максом – короткие лапы яростно гребут, уши стелются по воде. Я заплыла подалее от берега и лежала на воде, закрыв глаза, покачиваясь на зыби под легким ветром. Потом мы съели почти все, что принесли с собой, и улеглись на горячую гальку – горячую, а не раскаленную, как летом! – предварительно вытерев Макса его собственным полотенцем – старым, заслуженным, из которого давно выросла Катька.

Кажется, я задремала, пригревшись на солнце. Мне даже что-то приснилось – такое же радостное, как весь этот день, и тут же забывшееся, едва я открыла глаза.

Проснулась я от лая и смеха. Не поднимая ресниц, слушаю, предвкушая, как увижу море, солнце, дочерей, обросший водорослями валун у кромки воды – все, что складывалось в мозаику сегодняшнего дня. Девчонки явно бросали палку в море, а Макс плавал за ней: занятие, которое всем троим никогда не приедалось. Я открыла глаза – и солнечный день на морском берегу оказался еще прекраснее, чем я ожидала. Море покрыто легкой рябью, словно «гусиной кожей» от прохладного ветра. В воде пляшут солнечные зайчики, повторяясь на галечном дне.

Тут в голове что-то щелкнуло, и чужой голос внутри произнес:

Счастье ловится
Сетью из солнечных бликов
На мелководье.

Удовлетворенный смешок, и голос умолк.

Никогда в жизни я не сочиняла стихов. Любила их, легко и надолго запоминала – да. Но этих стихов никогда не читала и не слышала. Хайку – но откуда оно взялось? И этот смешок... В нем звучало довольство, почти торжество. Но смеялась не я. Тембр голоса, интонации – все было не мое.

Любой начинающий психиатр проходит через это. Сначала просто боится заболеть тем, от чего лечит других. Потом ищет и находит у себя отрывочные симптомы, вспоминая Корсакова, который сам вел свою историю болезни, повторяет изречение: «Если долго смотреть в бездну, бездна взглянет на тебя». А потом забывает об этом, выздоравливает от детской болезни. «Перерастет!» – говорят старые опытные педиатры – и обычно они правы. Я давно это переросла. И сейчас прогнала тень давнишнего страха, встала и, подкравшись к девчонкам, перехватила и зашвырнула в воду надувной мячик, раскрашенный под арбуз. Изнемогший от беготни и лая Макс тут же бросился за ним, а мы к нему присоединились.

Выгнать их из воды удалось только тогда, когда я обнаружила, что Катька стала синей и пупырчатой, как курица второй категории в советском гастрономе.

Метров через десять от линии прибора галька заканчивалась, шел песок, заполняющий пространство между здоровенными валунами. Вот туда мы с Дашкой и отволокли Катку – за руки и за ноги. При этом раскачивали ее из стороны в сторону и пели:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

Процессию замыкал Макс. Время от времени он останавливался и начинал яростно отряхиваться, хлопая безупречно породистыми ушами.

Катку мы закопали в горячий песок – отогреться. Макс тут же устроился рядом, а мы с Дашкой отправились ополаскиваться. Вытираясь, я снова увидела золотящуюся под солнцем рыжую шерстку – только теперь на обеих щиколотках. Что за черт? И почему я называю неизвестно откуда взявшуюся поросль шерстью?

– Мам, ты что?

– Ничего, Дашкин. Наверное, перегрелась немного.

Дашка бросилась наперерез Катке – та с индейским боевым кличем неслась к морю, а Макс со всех коротких лап мчался за ней, захлебываясь лаем. А для меня солнечный день померк, словно на него упала тень чего-то непонятного и угрожающего. Я устроилась под зонтиком и пролежала

там, пока не пришло время собираться.

Мы устало тащились домой по вечерней улице: девчонки с Максом впереди, я замыкающим. Чтобы отвлечься от гложущего беспокойства, я рассматривала их смешные тени. Тень Макса с длинными лапами, которые подошли бы немецкому догу под девяносто сантиметров в холке. Сзади налетела волна громкого рэпа из мелькнувшей мимо легковушки. Я обернулась на шум и обнаружила, что тени у меня нет.

Это было таким потрясением, что я продолжала идти, как продолжает бежать смертельно раненный. Пусть недолго, но он бежит, не понимая, что это все, что ему осталось сделать на земле. Тени не было. Этого не могло быть, но было именно так.

Мы ввалились в прихожую. Макс понесся на кухню – пить. Слыша, как он громко лакает воду, я погнала девчонок в ванную, поставила зонтик в угол и подошла к зеркалу. Моего отражения в нем не появилось. Не веря своим глазам, я за чем-то прикоснулась к чуть запыленному стеклу. Помахала рукой перед лицом, поморгала. В зеркале было пусто. В нем отражалась стена, оклеенная дешевыми обоями в цветочек, край подоконника. Все, чему полагалось отразиться по законам физики, – кроме меня.

– Мам, ванная свободна!

– Хорошо, сейчас.

Зеркало над раковиной меня тоже не отражало. В голове

стоял странный гул – может, я и правда перегрелась на ласковом сентябрьском солнце?

– Даш, мне что-то нехорошо, а завтра на работу. Поешьте, что там найдете в холодильнике, а я попробую уснуть.

– Хорошо, мам.

Я улеглась в кровать, но долго не могла заснуть, глядя в потолок и ощущая, что случилось что-то невозможное, невероятное, с чем придется жить дальше. Но как? В конце концов я все же уснула, и снилось мне что-то путаное, невнятное, имеющее свою логику, которую я никак не могла постичь.

Проснувшись я на рассвете и сразу же бросилась к зеркалу. Оно оставалось пустым, и я не знала, как с этим быть дальше. Пока предстояло жить: поднять девчонок, отправить Катюку в садик в сопровождении Дашки, успеть на работу.

– Даш, у меня с лицом все нормально, нос не сильно обгорел?

– Совсем не обгорел. А почему ты спрашиваешь?

– Со стороны лучше видно. Придешь – позавтракай и сразу за уроки.

– А нам ничего не задано!

– Ну-ну...

Обычная суматоха приема дополнялась тем, что Оксана ушла в отпуск. Вроде никто ничего необычного во мне не за-

мечал, а работа за двоих не располагает к рефлексии. К концу рабочего дня я замоталась так, что едва не забыла написать заявление на подработку – за медсестру. Хотя какая-то копейка за то, что все равно придется делать...

Бойкая Вика из регистратуры принесла журнал консультаций. Привычно скользнув взглядом по строчкам, нацарапанным на плохой бумаге разными почерками, я прочла: «психиатр – в отделение раннего возраста», и настроение сразу испортилось. Я расписалась, Вика упорхнула в облаке приторных духов, а я предалась горьким бесплодным размышлениям, параллельно, на автомате, дописывая карточки.

Какая умная голова в Минздраве додумалась назначать осмотр психиатра грудным младенцам? Как они представляют разговор врача с бессловесным пациентом? У них что, своих детей нет? Или они не изучали детские болезни? Ну да, понятно, отказники, дожидаящиеся места в Доме ребенка, должны быть осмотрены абсолютно всеми – но хоть какой-то здравый смысл...

О чем вы, доктор? Займитесь своим делом. Выполняйте должностные инструкции. Сказано «люминь» – значит, «люминь», как в армии.

Времени как раз хватило, чтобы дописать карточки и собрать сумку. В шкафу, надетая на литровую банку и прикрытая от пыли полиэтиленовым пакетом, именно для таких случаев хранилась шапочка, вываренная в крахмале по институтскому рецепту. Уже привычно не заглядывая в зерка-

ло, я надела ее и отправилась в отделение раннего возраста – благо идти недалеко, через двор.

Сияющий, по-летнему теплый вечер напомнил мне другой, недавний – тот, в который моя жизнь переломилась на двое. Все, что было объяснимо, привычно и понятно, осталось позади. Впереди ждала полная неизвестность.

Я позвонила в дверь, произнесла привычное заклинание: «Психиатр, консультация», – и поймала себя на мысли, что мне ответят: «Потяни, деточка, за веревочку, дверь и откроется».

Конечно, этого не случилось. В проеме двери, почти полностью его закрывая, возвышалась массивная фигура Лидии Ивановны.

Она трудилась в больнице всю жизнь, давно ушла на пенсию – и продолжала работать, прихватывая еще процент за санитарку. Да и то сказать, кто бы еще остался здесь за такие гроши? По возрасту она годилась мне в матери, по габаритам превосходила раза в два. Невольно я почувствовала себя провинившейся девчонкой и быстро убрала волосы под шапочку, тут же мысленно обругав себя за недостойную торопливость.

– Проходите, доктор, – неожиданно миролюбиво сказала Лидия Ивановна, – сейчас я их принесу.

Она повернулась и прошлепала по коридору куда-то в недра отделения, о которых не хотелось думать. Я переобулась в

розовые пластиковые тапки и прошла в знакомую дверь, вторую справа, где стояли пеленальные столики и старая клеенчатая кушетка, застеленная простыней со штампом «ОРВ».

Лидия Ивановна возникла на пороге, ловко держа в охапке три свертка, профессионально упакованных во фланель.

– Сейчас истории принесу, – сообщила она, укладывая свертки на пеленальный столик.

Минздрав, чтоб тебе провалиться! Что я могу еще написать, когда диагноз подтвержден генетически? Что мне скажет пациент, который, скорее всего, никогда ничего не произнесет, кроме нечленораздельных звуков? Да и до этого еще надо дорасти...

Ну что ж, осмотр психиатра – так будет им осмотр. В полном смысле этого слова.

Я растеребила пеленки, высвободила ручку, еще сведенную мышечным гипертонусом, и разжала кулачок. Вот и результат осмотра. Линия, перечеркнувшая ладонь и три жизни: ребенка и его родителей. Чего им стоило принять это решение? Что бы я сделала на их месте? При одной мысли об этом у меня свело брюшные мышцы. Нет, нет, нет! Эта беда нас обошла в свое время, но живо воспоминание о том, как мы с Генкой ждали результатов анализа, – а вдруг? А что тогда?

Я проделала эту процедуру еще дважды. С каждым разом руки все быстрее справлялись с туго намотанной фланелью, вспоминали те отработанные движения, которыми я – как

давно уже! – распеленывала-запеленывала своих девчонок. Нет, настолько туго я их не пеленала, и ползунки надевала рано, и ручки оставляла свободными...

Успокойтесь, доктор, это не ваша епархия. И не ваши дети, слава богу. Лучше поблагодарите Того, в Кого вы не верите, что тогда танец хромосом прошел по всем правилам. А почему в этих трех случаях произошло не так, не ваше дело.

Отвлечшись от интересного и продуктивного диалога с собой, я обнаружила, что дисциплинированная Лидия Ивановна давно принесла истории, но не мешала сложному диагностическому процессу, для которого вовсе не нужно было семь лет учиться и восемнадцать – работать.

Сдерживая накипающую злость на абсурд ситуации, я кротко сказала: «Спасибо, Лидия Ивановна», – и уселась в коридоре за столом постовой медсестры заполнять документацию. Привычно проверив, что истории те, что и требовались: девочка, два мальчика... ага, Веткина, Шульгин, Мотовилов... заключения генетической экспертизы... есть, подклеены, – я записала в каждой: «Осмотр психиатра. Диагноз: неуточненная умственная отсталость, обусловленная хромосомным заболеванием (синдром Дауна)» – шифр, подпись, дата, печать.

Каждый раз в таких случаях мне казалось, что я подписываю приговор. Хотя умом я понимала, что приговор подписан задолго до этого и не мной, все равно было тошно, хотелось быстрее сбежать отсюда.

Вот и сейчас, закрывая последнюю историю, я громче обычного сказала в сторону открытой двери:

– Лидия Ивановна, истории на посту, я пошла.

– Хорошо, доктор, дверь захлопните, я пока тут деток заодно перепеленаю.

Застегивая босоножки, я присела на корточки и, вставая, нечаянно скользнула взглядом по висевшему на стене зеркалу.

Человек – животное, которое привыкает ко всему. Я успела привыкнуть, что не отражаюсь в зеркалах, и наловчилась в них не смотреть. Но сейчас на меня из глубины зеркального стекла глядела рыжая лисья морда с желтыми глазами и пышными баками. К такому повороту событий я оказалась не готова.

Очнулась я от знакомого запаха нашатыря. Опираясь на испуганно квохчущую Лидию Ивановну, доковыляла до той самой кушетки – жесткой, обитой клеенкой еще в незапамятные времена. И там-то, на этой кушетке, со мной и случилась первая в моей жизни истерика. Икая и захлебываясь от слез, я рассказала испуганно притихшей Лидии Ивановне обо всем, что со мной случилось. И о лисьей морде в зеркале – тоже.

Как всегда после истерики, в палате было очень тихо. Лидия Ивановна с неожиданно посуровевшим лицом пробормотала: «Полежите пока...» – и вперевалку устремилась в

коридор. Мне было все равно, что она думает и что собирается сделать. Держать все это в себе я уже не могла. В голове и во всем теле стояла странная звенящая пустота. Было легко и бездумно.

Тут я услышала, как булькает закипающий электрочайник. Через пару минут в палату вплыла, словно авианосец, Лидия Ивановна с двумя чашками чая.

– С кагорчиком! – предупредила она, суя чашку мне в руки. – Смотрите только не облейте, пятна будут.

Я глотала крепкий сладкий чай со знакомым привкусом кагора, и мне казалось, что это бабушка пришла ко мне откуда-то издалека. В детстве она тоже, тайком от родителей, давала мне кагор, все малокровия боялась. Когда я подросла, она рассказала, как ее, чудом выжившую в блокаду, родня пичкала кагором.

– Потом тетка меня попрекала: такая молодая, а уже все серебряные ложки пропила... – говорила бабушка.

– Баб, ты обижалась?

– А чего обижаться, она ж это шутя. Они и правда серебряные ложки променяли на кагор, рыбий жир, шоколад американский. Спасли они меня, тетя Стася и дядя Дима. Если б не они, я бы так и загнулась, ни твоего папы на свете не было бы, ни тебя. Ты их помни смотри, а я их никогда не забуду.

– Хорошо, баб.

Я вернулась из прошлого и вновь услышала голос Лидии

Ивановны:

– Вам, Ольга Андреевна, теперь одна дорога, к Прохоровне. Если кто и может помочь, так только она.

– Какая Прохоровна?

– Да та, что в морге работает.

– А чем она может помочь?

– Не знаю, может, присоветует что. Она же сама... ну, это... тоже такая. Вторую сотню лет живет на свете неспроста. У нас тут давно еще, я только училище закончила и сюда пришла, тетя Сима работала. Как-то она подпила на День медработника и рассказала нам, девчонкам, про Прохоровну, что она здесь с пятидесятого года работает, и все санитаркой в морге, с того времени, как из лагеря вышла.

– А за что она сидела?

– За людоедство, – просто сказала Лидия Ивановна и незаметно перекрестилась. – Про голодуху поволжскую слышали? Вот она тогда тоже... того... ребеночка съела. И теперь будет жить, пока не отживет за него и его детишек, что на свет не родились. Когда-то она тете Симе проговорила, а та нам. На другой день, помню, все спрашивала, чего она наболтала по пьяному делу, и просила, чтобы мы это всерьез не принимали и никому не рассказывали, мало ли чего спьяну набрешут. Сима-то померла давно... Вот я и думаю, что вам одна дорога – к Прохоровне. Она «Приму» курит ленинградскую. Вы ей купите блок-другой, она вам и посоветует что полезное... Я-то никому ничего не скажу, но и что вам

делать – не знаю.

– Спасибо, Лидия Ивановна, – только и смогла выдать
я.

Чай с кагором помог. Я сумела встать на ноги, умыться и
дойти до двери без посторонней помощи.

– Лидия Ивановна, я не сильно зареванная?

– Да так, ничего... – дипломатично ответила она. – Блед-
ненькие только и глаза наплаканы. Сами-то доберетесь?

– Доберусь, – заверила я и неожиданно для себя самой
чмокнула ее в пухлую, пахнущую «Красной Москвой» щеку.

Когда дверь отделения захлопнулась у меня за спиной, я
спустилась на один пролет и, воровато оглянувшись, одну за
другой приподняла штанины. Щиколотки покрывала густая
рыжая шерстка. И ее уровень был несомненно выше, чем па-
ру дней назад.

Приступ внезапной слабости заставил меня схватиться за
перила. Я постояла, отдышалась, сунула в рот квадратик шо-
колада от «экстренной» плитки, лежащей в сумке специаль-
но для таких случаев. Когда же я соберусь к эндокринологу?
Тяну третий месяц. Любого из своих вменяемых пациентов
я при такой симптоматике погнала бы туда пинками, ну а
меня пнуть некому. Правду говорят, что врачи – самые про-
блемные и недисциплинированные пациенты. Вот хоть Че-
хова взять...

Слабость заставила меня сесть на ступеньку, но источни-

ком этой слабости был страх – сейчас это четко осознавалось. Так же четко, как и то, что ни к какому эндокринологу я не пойду. Он, конечно, пошлет меня обследоваться – и что покажут анализы моей крови? Насколько я еще человек? Какие биохимические показания у оборотня? Как его лечить и надо ли его вообще лечить?

Короче говоря, сколько мне осталось?

Я поднялась, цепляясь за перила, не чувствуя ног, доковыляла до выхода и только теперь обнаружила, что шапочка так и осталась на голове. Подниматься в кабинет сил не было совершенно, так что я привычно сложила ее, сунула в сумку, нацепила темные очки и кое-как дотащилась до скамейки под старой ивой. Обычно здесь кишели мамыши из детского отделения, но сейчас, на мое счастье, там никого не оказалось. Я вызвала такси из той компании, где у меня была максимальная скидка, и поехала домой.

Ночью я уже привычно лежала без сна и раздумывала, как жить дальше. Что бы ни приходило в голову, я все яснее осознавала, что выход один: идти к Прохоровне и смиренно просить ее помощи... если она еще захочет помочь. А если не захочет? Или не сможет? Что тогда?

В безрезультатных сомнениях прошли два дня. За это время шерсть на щиколотках поднялась еще на пару сантиметров.

По дороге на работу я купила два блока ленинградской

«Примы» и после приема отправилась в морг. Мне повезло: Прохорова сидела на той же скамейке, что и в прошлый раз. Не курила, просто грелась на осеннем солнышке. Но допотопный халат был тот же, с завязками на спине. В таком мой прадед сфотографировался на ступенях санитарного поезда в Первую мировую...

Пока я шла к ней по залитому солнцем двору, Прохорова не пошевелилась. Она сидела, опустив плечи и вытянув шею вперед, как нахохленная птица. Не привычная ворона, а кто-то из тех, кто сидит на кургане или парит над степью, высматривая падаль. Морщинистая шея, неподвижный взгляд... Гриф? Орел-могильщик? Никогда не была сильна в зоологии.

– Добрый день, Анна Прохорова, – сказала я и положила на скамейку рядом с ней пакет с «Примой».

– Чего надо?

– Поговорить.

– За что?

– Беда у меня. Посоветовали к вам пойти.

– Кто?

– Ну, люди... – обтекаемо ответила я.

– Те люди, что могли такое сказать, давно в земле лежат. А вот меня она не примаёт... Да что говорить, раз пришла, значит, про меня знаешь. Так, что ли?

– Что рассказали, то услышала, а правду или нет, не знаю.

– И что же ты услышала?

– Что с вами давно несчастье случилось. И с тех пор вы с ним так и живете.

Старуха издала какой-то странный звук: то ли хмыкнула, то ли хохотнула. Но от него у меня поджались пальцы на ногах.

Держись, держись, иди по лезвию ножа, не отступайся. Помни Таськины слова. Подвякивай. Вспомни Макарова: ты не доставала ему до плеча, и топор в его руках был отточен добела – блестящая полоска на лезвии. Ты уболтала его, он сам пошел садиться в машину, даже позволил тебе идти сзади, прикрывать его от агентов ЦРУ, ФБР, КГБ и кого-то еще. Будь искренней на девяносто пять процентов, а остальные пять контролируют степень искренности и отслеживают окружающее. От тебя исходят приятие и понимание... уважение и доверие... Исходят и возвращаются к тебе. Зеркаль. Дыши в такт...

– Хитрая лиса, – сказала старуха. – Хитрая, но не врешь. Ну, говори тогда – осуждаешь ты меня, винишь небось?

– Нет, – ответила я без колебаний. – Не мне вас судить, и не дай бог никому такого выбора.

– Не было там Бога. Ни там, ни в лагере. А судить меня уже судили. Ты вот умная, ученая, скажи – Он меня простит?

– Вас – да. Тех, кто вас до этого довел, – нет. Я так думаю.

– Я с тех пор ни разу досыта не наелась. Сколько бы чего ни съела – все как в провальную яму. Только мяса не ем...

с того самого раза. Хлеб ем, буханку могу зараз съесть. Тогда-то он только снился. Проснешься и думаешь: лучше было б не просыпаться, во сне сдохнуть – с хлебом. Всегда голодная, курю вот, голод заглушаю. Мне Она так и сказала: ты тогда в последний раз досыта поела...

Мне вдруг стало зябко – словно я открыла дверь, и оттуда потянуло холодом, сыростью, тленом.

– А вы Ее... видели?

– Как тебя вижу.

– А какая Она?

– У каждого своя.

– Как Она выглядит?

– Моя – как Розка-комиссарша: в черной кожанке и сапогах. Я у нее, суки, в ногах валялась, сапоги эти целовала... Посейчас помню, как они салом пахли, все их облизать хотелось... Христом-богом молила: отпусти, скажи этим, с пулеметом, на околице, пусть зенки чуток прижмурят, мышью проскользнем: балочкой в степь, а там на станцию... хуже не будет... Нет, говорит, стране хлеб нужен, а вы враги классовые... А дети, спрашиваю? И дети, отвечает, кулацкое отродье... Не было там Бога.

Я Ее видела, когда в лагере доходила. Спросила у Нее про Розку. Не тужи, говорит, она свое получила – на допросах, на общих работах, да в общей яме. А меня вот и яма не примет и долго еще не примет. Все свой срок мотаю, уже третий пожизненный. Вот и думаю: неужто я Розки виноватее?

Розка-то еще когда отмучилась, а я... Мне Она так и сказала: три жизни будешь на Меня работать, Мне служить и жить со Мной под одной крышей. Я ж тут и живу, при морге. Покойников мою, одеваю, в гроб кладу. И думаю: счастливые. Тогда-то без гробов в яму валили... Больше покойников вижу, чем живых, и ладно. Люди – зверье, а покойники – они не обидят. Ну так чего тебе надо, лиса?

Я поставила ногу на скамейку и приподняла штанину.

Старуха опять не то хмыкнула, не то хохотнула.

– Так вот кому Кицька все передала. Надо же... А саму-то похоронили хоть за казенный счет, под номером, но в гробу, честь по чести. Я же ее и обряжала.

– Кто это – Кицька? Что передала?

– Кицька, она лисой была. Старая, они подолгу живут, но им тоже век приходит. Звали-то ее иначе, да я и не выговорю, иноземное какое-то прозвание. Совсем старая, а помереть не могла, пока другому кому не передаст. Вот тебе и выпало. Теперь ты лисой будешь, она в тебе еще один лисий век проживет. Да не шугайся ты, они подолгу живут и много чего умеют. Повезло тебе. Она, бывало, как подопьет, как начнет рассказывать, так получше любых сказок... Болтала, что ей шестьсот лет, может, и врала, кто ж ее знает.

– А если я не хочу?

– Да кто ж тебя спрашивать будет? Я что, хотела себе такого? Кто на меня этот хомут навесил? Тяни и не жалуйся.

– Хорошо, пусть хомут. А как из этого хомута вырваться?

– А я почему знаю?

Мне показалось, что у меня остановилось сердце.

– Не там ты спрашиваешь. Не у того. Тебе к Таньке надо.

– К какой Таньке?

– К Таньке-моряне, помнишь, что утопилась летом-то.

Что-то я такое припоминала...

В конце июня в кабинет – как всегда, без стука – влетела пергидролевая блондинка из профкома, акушерка Алевтина, и объявила про очередной сбор денег: «Кто сколько может, на похороны». Оксана дала триста рублей, а я – я сказала, что занесу после приема. Мне было стыдно перед своей медсестрой, что я могу дать только сотню. «Грош у тебя есть, гроша ты и стоишь». От того, что я могла произнести эту фразу на латыни, я не стала стоять больше.

Профкомовские пили кофе с коньяком. При моем появлении бутылку попытались спрятать, но, увидев, что это всего лишь я, оставили стоять на столе, среди пирожных и бутербродов с сырокопченой колбасой. От запаха копченостей у меня заурчало в животе, оставалось надеяться, что среди гомона подвыпивших баб этого не было слышно.

Мне все же поднесли рюмочку – за упокой души – и бутерброд на закуску. Тщательно жуя, чтобы не разговаривать, я слушала и мало-помалу поняла, что же случилось. Таньку, Татьяну из физиотерапии, я знала только в лицо. Худо-щавая, остроносая, лет под пятьдесят – никакая. Тогда, на

День медработника, профком организовал выезд на природу – то есть на пляж, с тамадой и танцами под магнитофон. Я оттуда быстро слиняла: терпеть не могу обязаловки, да и калым нарисовался, на мое счастье. Но я все равно успела увидеть и запомнить Татьяну в красном платье «в пол» – безвкусном до ужаса, с громадным бантом на плоской груди. В этом платье она и утопилась под вечер, обмотавшись специально привезенной собачьей цепью, которая могла бы удерживать стокилограммового алабая. Парочка отдыхающих увидела, как она шагнула вниз с отвесного берега – недалеко от памятника десантникам, у которого фотографируются новобрачные, приезжие и кандидаты в городскую думу.

Похорон не было: тела не нашли. Собранные деньги пойдут ее дочерям-погодкам. С мужем она давно разошлась, девчонки сейчас у тетки. Болтают, что и утопилась-то она из-за того, что родственники попросили ее вместе с девками – здоровенные кобылы, хотя старшей восемнадцати еще нет – освободить для отдыхающих времянку во дворе и больше не отсвечивать. Ага, халупу-то свою она продала, хотела квартиры купить себе и девкам, в новом доме...

Тут все мгновенно замолчали. А я быстро свалила, сказав пару приличествующих случаю фраз.

Много узнает тот, кто не спрашивает...

Я вернулась в «здесь и сейчас», поймала себя на том, что стою перед Прохоровной, словно школьница у доски, и услы-

шала ее скрипучий прокуренный голос:

– ...спроси у Таньки, может, она и ответит...

– А как с ней встретиться, Анна Прохоровна?

– Русалкин камень знаешь?

Да кто ж его не знает? По всей стране его фотографии в семейных альбомах, черно-белые, еще довоенные, с кружевным бордюром, более поздних времен, сделанные уже не ФЭДом, а «мыльницей», потом цифровые... Сколько женщин на нем снято: с развевающимися под ветром волосами, на фоне волны, разбивающейся о камень, опустивших в воду ноги – стройные и не очень, – на фоне сияющего неба, в сумерках, с «солнышком на ладошке»...

– Знаю.

– Приплыви к нему ночью – да смотри, плыви безо всего, в чем мать родила, – залезь на него, выпей воды морской и позови ее трижды: «Татьяна-моряна!» Скоро как раз луна полная будет, это тебе на руку. Придет, ты ее и спроси.

– А она точно знает?

– А кому же знать, как не ей? Она же теперь моряна. Море все на свете знает, на то оно и море, а она его часть. Как все, кто в море утонул и там остался... до Страшного суда господня...

– Вы в него верите, Анна Прохоровна?

– Я-то верю, да не так, как нам отец Анатолий проповедовал – давно, еще до германской войны. Будет суд, да только не Бога над людьми, а людей над Богом. Разве Он не сказал,

что без его воли волос с головы человека не упадет? Значит, по Его воле не волосы, а головы сыпались? И все, что я видела, по Его воле было? Разве я одна такая? Только те, что помене, чем я, хлебнули, давно уж отмучились, а я все тяну свою лямку, срок мотаю – и все как есть помню, ничегошеньки забыть не могу! И в этом Он мне отказал. Ты говоришь, Он меня простит. Он-то, может, и простит, да я Его не прощу! Ну что, все вызнала, что хотела? Иди, лиса, иди, больше мне сказать тебе нечего...

– Спасибо вам за все, Анна Прохоровна, – только и смогла выговорить я.

Старуха не ответила, только подгрребла поближе пакет с «Примой» и уставилась мне в глаза тем же неподвижным взглядом – словно сама бездна смотрела на меня, смотрела и не замечала.

Ускоряя и ускоряя шаг, я пошла прочь от живого мертвеца, доживающего чью-то чужую несбывшуюся жизнь, – к людям, в уличную вечернюю толчею, к девчонкам, к Максусу.

Окончательно опомнилась я только в битком набитой маршрутке. Забрать Катюку из садика, выслушать жалобы воспитательницы на то, что дочь опять подралась с Аликом на прогулке, привычно обещать «разобраться и поговорить»... Полно, да была ли вообще эта беседа с Прохоровной? И рекомендация спросить совета у утопленницы... Моряны – так, кажется, она сказала?

– ...ма-а-а-ам!

– Что, Кать?

– Мам, я тебе говорю, а ты не слушаешь!

– Извини, устала я сегодня, прием был тяжелый.

– Что, опять первичные?

Врачебный ребенок, м-да...

– Нет, просто народу много было. Да и твоя Нина Федоровна добавила... Ты почему опять с Аликом подралась?

– А он сам первый лезет! За волосы дергает, а Анфису за хвост!

Что тут можно сказать? Что именно так выражают в детском саду влюбленность и восхищение? И ревность – к Анфисе. Так я и сама готова вышвырнуть это оранжевое чудовище с балкона – и тоже из ревности.

– А договориться по-человечески нельзя?

– Да он тупой, слов не понимает! Когда я говорю, только тарашится на меня и улыбается, как дурачок! Я ему сказала, что у меня мама психиатр, пусть его тебе покажут, чтобы ты его вылечила от тупости и чтобы он не дрался!

Час от часу не легче. Еще с возмущенными родителями разбираться. Как ей объяснить, что от любви действительно глупеют, а в детском саду в особенности.

– Кать, у нас диагнозами не бросаются. Ты лучше поговори с ним, а потом расскажешь, что обсуждали и как, мне тогда легче с ним работать будет. Только не дерись, а разговаривай спокойно и внимательно и все запоминай. Хорошо?

– Ага! А что вечером будем есть?

– Что приготовим, то и будем. Ты что хочешь?

– Картошку жареную!

– Ну тогда пойдем купим картошку. Вы с Дашкой почи-
стите, я порежу и поджарю. Идет?

– Идет!

Девчонки чистили картошку (Катька – с привычно вы-
сунутым от старания кончиком языка), я мыла посуду и
контролировала процесс, приговаривая: «Тоньше срежьте,
тоньше», думая, что в моей речи проступают бабушкины ин-
тонации. Подумаешь, всего-то тридцать пять лет прошло с
тех пор, как сама вот так же чистила картошку. Только я не
высовывала язык, а подпирала им щеку изнутри.

Родители дома бывали мало. Растила меня бабушка, мать
моего отца. Она гуляла со мной во дворе и в парке, учила
всему, чему считала нужным, читала мне вслух и отвечала
на бесконечные вопросы.

– Баб, а папа на работе?

– Ну а где еще, по-твоему?

– А давай к нему ходим?

– Не пустят, там стерильно.

– А как это?

– Очень чисто, чтобы все хорошо заживало.

– А мама с ним?

– Ты же знаешь, она ему инструменты подает.

– А они сегодня вернутся?

– Закончат операцию и вернутся – только поздно, если она сложная. Не болтай, чисть картошку давай... Шкурку потоньше срежай, сколько раз тебе говорить?

На бабушку я взирала с почтительным страхом. Она совершенно не походила на обычную, нормальную бабушку, как на картинках в книжке «Красная Шапочка». И на всех бабушек, которые гуляли с внуками во дворе, – тоже. Она не была полной, уютной, с румяными щеками и доброй улыбкой, с узелком седых волос на затылке, в цветастом халате и тапочках. Все было наоборот. Бабушка Стефа, маленькая, прямая – «как шомпол», говорила она о себе, – с черно-седой гривой жестких волос, подрезанных ниже упрямо вздернутого подбородка, с выпуклыми серыми глазами и горбатым носом, походила на сову. А еще на свою фотографию почти двадцатилетней давности. По крайней мере то платье, в котором ее сфотографировали, лежащее в стенном шкафу, она могла надеть и сейчас.

– Три пуда было, три и осталось, никакой усушки-утруски, – говорила бабушка.

– Баб, можно я твое платье надену?

– Бери, только на подол не наступай. Крепдешин хороший, прочный, но старый... как я...

– Баб, ты же совсем не старая!

– Ладно тебе... Бусы дать?

– Да! И шляпку!

Бабушка умела все, могла все, знала все. Родители были где-то далеко, на операции, на работе, а она всегда со мной, рядом.

Всю жизнь бабушка Стефа проработала акушеркой. Единственный сын – хирург – был для нее смыслом жизни, предметом гордости – всем на свете. А для него смыслом жизни оставалось его дело – хирургия. Это безоговорочно признавали мы все: мать, бабушка и я.

Я росла, зная, что работают – в больнице, госпитале, роддоме, клинике. О том, что бывает другая работа, я слышала, но не очень верила. Ведь даже тетя Крыся, закадычная бабушкина подруга, и та работала в роддоме. Его они и вспоминали, когда тетя Крыся заходила к нам. Они с бабушкой пили кофе, играли в «ведьму» или «пьяницу» и говорили про поворот на ножку, про тазовое и поперечное предлежания и про другие непонятные, но интересные вещи. Иногда они переходили на какой-то другой язык, который я не понимала, шипящий и поскрипывающий, хохотали как девчонки и толкали друг друга локтем в бок.

Тетя Крыся была бабушкиной ровесницей, но называла я ее только так («Все молодится, вот уже тридцать лет!» – пояснила мне бабушка).

Я оскандалилась, закричав: «Баб, там тетя Крыся пришла!», когда услышала это имя впервые.

– Стефа, ты слышишь, что дите говорит?

– Олька, надо говорить «тетя Кшися».

– Я и говорю «тетя Крыся!».

Они посмеялись и пошли пить кофе с печеньем. А мне потом бабушка прочла лекцию:

– Надо говорить «тетя Кшися». Ее зовут Кристина Янов-на. Поняла?

– Кристина – значит Крыся!

– Лайдак, а не ребенок! Она полька, по-польски правильно так.

– А что такое «полька»?

– Есть такая страна – Польша, там живут поляки. Она полька, как и я.

– А папа?

– Он наполовину поляк, наполовину немец.

– А мама?

– Мама татарка.

– А я?

– А ты русская.

Все это с трудом уместилось в моей пятилетней голове. Тетю Кшисю я еще долго называла Крысей, но тут же исправлялась под бабушкиным взглядом. Некоторые слова из этих бесед я запомнила, но когда спросила у бабушки, что они значат, та поперхнулась и велела их забыть – не позорить семью и не позориться самой.

– Понимаешь, в роддоме, э-э-э... разные вещи случаются, и слова тоже разные бывают, плохие...

– «Пся крев» – тоже плохое слово?

– Олька, я же тебе сказала! Плохое, забудь и не вспоминай больше!

– Хорошо, баб.

Другие слова плохими не были, но оставались непонятными. Например, что такое «тазовое предлежание»? Что такое таз, я знала хорошо. Коричневый, эмалированный, он жил в ванной. Когда-то в нем купали меня, а сейчас замачивали белье и потом выносили развешивать на улицу. Я гордо шествовала рядом, с ожерельем из прищепок на шее, достававшим мне до колен, и чувствовала себя взрослой, необходимой, подавая прищепки отцу. «Прямо в руку, как мама», – говорил он.

Развешивать белье – это была его работа, одна из немногих, которые он выполнял по дому. Все определялось словом «руки!». Руки нужно беречь, их нельзя случайно порезать, повредить или сильно запачкать. Как-то мы втроем выбрались в зоопарк. У вольера с обезьянами отец наступил на обертку от мороженого, поскользнулся и упал, но, падая, успел сжать кулаки и сунуть их под мышку. Два ребра треснули, но руки остались целы и невредимы.

А третьей рукой для него была жена – моя мать. Такое бывает у хирургов, когда женятся на операционных сестрах, анестезистках, которых видели в деле, с кем скользили по кромке и выскользывали обратно вместе с третьим – тем, кто лежал на операционном столе. Как было у них, я не знала. Просто видела, что они понимают друг друга с полуслова и

полувыдоха. Я воспринимала их как одно целое, да они им и были.

Когда я подросла и стала задумываться над тем, что меня окружало, то поняла: отец и мать совершенно разные. Он – высокий, худой, длиннорукий и длинноногий, с угловатым лицом и жесткими светлыми волосами, всегда торчащими вихрами. Она – невысокая, плотная, смуглая и круглолицая. Гладкие блестящие черные волосы она собирала в низкий узел, потом подстриглась под пажа. Отрезанная коса лежала в ящике туалетного стола, аккуратно уложенная в коробку из-под духов «Голубой ларец». Иногда мне разрешалось достать ее, подержать в руках. Я прикладывала ее к голове, перекидывала на грудь и воображала себя Василисой Премудрой.

А про тазовое предлежание я спросила у бабушки, когда уже пошла в школу. И получила исчерпывающий ответ с демонстрацией на модели, тут же сварганенной из моей куклы и кастрюли.

– Должно быть – так. А когда тазовое – тогда вот так. Понятно?

– Угу.

Так шла моя – наша жизнь. Спроси – ответят. Сделай как следует – похвалят. Попроси – дадут или объяснят, почему сейчас дать не могут. Скажи, что не умеешь, – научат. Правда, учили меня не только тому, чему я просила научить, но

учиться я любила и делала это легко и охотно. А еще любила читать и читала все, что попадало в руки: от сказок до энциклопедий. Незнакомые слова легко запоминались, цепляясь одно за другое. Что-то похожее на слово «кицька» уже было, звучало когда-то... Я напрягла память так, что почувствовала, как сморщился лоб.

– Олька, гляди, какой кицик!

Бабушка держала на ладони крохотное рыжее существо, разевающее треугольный розовый ротик. Это из него потом вырос Филат – пушистый красавец с янтарными глазами, огромный и ласковый, полноправный член семьи и отрада моего детства. Но Прохоровна говорила про лису. Что-то оттуда же, из детских сказок...

Стоп. Вот оно. Истрепанная библиотечная книжка японских сказок, на обложке вытиснен рисунок: мальчик в широкополой плоской шляпе, с огромной вязанкой хвороста на спине, а сверху полная луна.

Кицунэ. Вот что это за слово. Кицунэ, лиса-оборотень, хитрая обманщица, умеющая превратиться во что угодно, даже в луну на небе.

После ужина я включила ноутбук и полезла в Интернет за информацией. Ее оказалось даже больше, чем нужно. Итак, кицунэ достигает совершеннолетия к пятидесяти или ста годам, тогда обретает способность принимать любой желаемый облик, менять пол и возраст, преследуя свои цели или

цели своего клана. Может дожить до тысячи лет – ну-ну... Способна вселяться в чужие тела, выдыхать огонь и подчинять людей своей воле, приходить в чужие сны. Самые старые и опытные могут управлять временем и пространством, сводить людей с ума, прикидываться то скалой, то громадным деревом, то горным ущельем...

А еще она не отражается в зеркале, не имеет тени, боится и не выносит собак – как и они ее. Симптоматика совпадает.

Что за чепуха. Оборотни, слуги бога Инари, преданные жены, незабываемые и несравненные возлюбленные, матери полукровок с невероятными способностями, коварные и непредсказуемые противники, недоступные человеческому пониманию... Я-то здесь при чем? Как все это может касаться меня?

Я погладила обросшие рыжей шерсткой голени и поняла: оно меня уже коснулось.

Самым сложным было решиться. Или просто осознать, что это возможно: обратиться за советом к русалке, покойнице, моряне – к кому угодно, лишь бы найти выход из тупика. Я сказала себе: «Сегодня!» – и отправилась варить какао. Сварила в два раза больше, чем помещалось в наш выдавший виды термос. И оказалась права, потому что на запах в кухню прибежали все. Даже Макс, хотя он, несмотря на свою всеядность, на какао не претендовал – просто не мог допустить, чтобы хоть что-то в доме происходило без его ве-

дома и участия.

Я наполнила термос, плотно закрутила крышку и пошла собираться.

– Калым? – спросила Катька, наливая свою здоровенную чашку с клоуном, жонглирующим разноцветными шарами.

– Да.

Она не ответила «глюк ауф» – меньше прожила с нами, чем Дашка, и реже видела отца. Со времени ее рождения Генка работал на полторы ставки, набирал дежурств, сколько мог, подменял коллег, левачил на «скорой». Вот тогда и был куплен этот самый термос. И чего только в нем не перебывало: чай, кофе, какао, бульон...

– Слушай, у меня уже кличка есть, так и говорят: «А где доктор с термосом?»

Может, хватит мне с ним таскаться?

– Клички есть во всех замкнутых коллективах, это естественно. И у меня была, пока в приемном пахала. А термос – ну, сколько ты язв желудка вырезал? Себе такое хочешь? Или уж лучше с термосом таскаться?

– Тебя не переспоришь... Только если бульон, то куриный, ладно? И сухарики. А какая у тебя кличка была?

– Не скажу!

Ох, Генка... Где он, что с ним? Почему нет вестей? Он предупреждал, что больница отправляет бригады в провин-

цию, в деревни, где нет не то что Интернета, но и электричества. Но сколько делятся такие выезды? Он молчит уже две недели...

Взрыв хохота заставил меня заглянуть на кухню. Макс поднял от миски довольную морду и смачно облизнулся.

А девчонки чуть не валялись от смеха.

– Ой, мам, он какао пьет!

– Вы что, сбесились? Собаке нельзя сладкого.

– Мам, ну чуть-чуть, за компанию, он так просил! И оно совсем не сладкое!

– Дарья! Таксы все попрошайки, ты же знаешь! Чтобы в первый и последний раз, договорились?

Дашка кивнула, но по хитрой Катькиной физиономии было ясно, чья это идея. Странно, почти десять лет разницы, а как нашкодить, так руководит младшая. Дашка всегда была взрослее своих лет, может, не наигралась в детстве? Последние два года она занималась Катькой столько же, сколько и я, если не больше. Но Катька сильная личность, и, когда в Дашке просыпается ребенок, Катька берет управление на себя.

А сахар я и правда везде кладу по минимуму. Извечная врачебная привычка: экономь поджелудку, она у тебя одна.

Макс напомнил о себе гулким басовитым брехом. Крохотная кухонька срезонировала так, что захотелось зажать уши.

– Фиг тебе, а не какао. Гулять! Сейчас выведу его, и на калым. А вы – спать. Все меня слышали?

– Мам, а почему в спортивном костюме?

– Алкашам плевать, а мне удобно.

Дашка наблюдательна, но, будем надеяться, не уловила фальши в моей интонации.

Собранную сумку я поставила у двери, чтобы не дать себе шанса запаниковать и отложить все на завтра – на «никогда». Два полотенца, зимние легинсы, теплая толстовка, термос с горячим какао – ничего себе набор для общения с потусторонним миром...

Макс ждал на коврике у двери, благовоспитанно сидя с поводком в зубах. Это его Генка приучил... Почему я его сейчас постоянно вспоминаю? Просто долго нет писем или... Или – что? Что могло случиться?

Я ему так и не сказала, какая у меня была кличка. В приемном покое меня прозвали Ведьмой. За способность предчувствовать неприятности и выкручиваться из них. Ну, и не только...

Бродя вслед за Максом по вянущей траве пустыря, глядя на прыгающий блик от «маячка» на его ошейнике, я пыталась не думать о том, что меня ожидает. С тем же успехом можно было не думать о белом медведе, о зеленой обезьяне... о чем там еще? Думать о том, о чем понятия не имеешь, – только тревожиться и беспокоиться, перегорая задолго до старта. Хватит, все равно скоро узнаю.

– Макс, домой! Домой, хорошая собака!

Макс еще раз задрал лапу на чахлый куст, начальственно

гавкнул в темноту, показывая, что все происходит с его ведома и под его контролем, и потрусил к подъезду. Поднимаясь вслед за ним по лестнице, я вдруг заметила, что уже привычно огибаю то место на площадке, где лежала Кицька – то неведомое существо, встреча с которым разломилась мою жизнь надвое. Будто что-то можно изменить... Если можно, то не здесь, на пыльной лестничной площадке. А в темном ночном море, у Русалкина камня.

Я впустила Макса в квартиру – он тут же рванул на кухню – и громко сказала:

– Макса покормите. Я пошла, когда вернусь – не знаю.

В ванной шумела вода.

– Глюк ауф, – ответили мне оттуда.

– Пока, Даш.

Я заперла за собой дверь и отправилась на встречу с неизвестным.

Мне повезло, удалось поймать автобус – последний, скорее всего. Трясаясь на заднем сиденье, я старалась не думать, не бояться, ничего не ждать. Получалось плохо. Выходя на конечной остановке, я боковым зрением увидела озадаченное лицо водителя. Что он мог подумать о шальной бабе, которая близко к полуночи едет на окраину города и тащится на темный пляж, оставляя за спиной хоть и плохо, но освещенные улицы и людей, способных в случае чего помочь. Но в том-то и дело, что помочь мне никто не мог, кроме меня самой.

Со временем получилось удачно: до полуночи оставалось всего ничего. Полная луна стояла высоко и хорошо освещала Русалкин камень. Ветра не было, море сияло зеркалом. Я поставила сумку на сырой песок, хорошенько продышала легкие и стала раздеваться. Стоя в полосе прибоя, успела подумать, как глупо выгляжу со стороны – голая, с гусиной кожей, на осеннем ночном пляже, по щиколотку в холодной воде... Потом окунулась и поплыла быстрым кролем, чтобы согреться. Мерно вдыхая и выдыхая, с благодарностью, как всегда, вспоминала отца. Это он привел меня в бассейн, едва мне исполнилось пять лет. И он же оставил решение за мной, когда через три года меня пригласили в школу олимпийского резерва.

– Подумай сама. Данные у тебя хорошие: тонкокостная, худенькая, руки-ноги длинные. Выносливость отличная – ну, это у нас в роду. Спринт у тебя не очень, тренер говорил. Смотри, олимпийский резерв – это жить в интернате, две тренировки в день, а школа – как получится. И вот представь: доплаваешься до мастера спорта годам к пятнадцати – и оказывается, что это твой потолок, а время уже упущено. Куда ты потом сможешь поступить? Ведь тренировать таких, как ты сейчас, не захочешь?

Я молча потрясла головой. Тренировать я никого не хотела – хотела поступить в мединститут и быть врачом, как отец. Я его обожала, гордилась и восхищалась им и его работой и хотела быть как он.

– А еще там, где «быстрее, выше, сильнее», там всегда допинг. Знаешь, что это?

Я не знала. Он рассказал: и про допинг, и про «*citius, altius, fortius!*», и про Кубертена. Как всегда коротко, емко и информативно. Еще и потому я любила отца всеми силами души – он всегда разговаривал со мной как со взрослой.

– Ну что, как ты решаешь? Пойдешь в олимпийку?

– Нет.

– Тренеру сама скажешь, или мне подойти?

– Сама.

– Ну и ладно. Давай спать ложиться. Завтра операционный день.

Метров через пятьдесят я перешла на брасс, экономя силы. Ко времени меня там никто не ждет, а еще возвращаться.

Доплыла я быстрее, чем ожидала. Русалкин камень был таким, каким будет любой камень, торчащий из моря: холодным, осклизлым, обросшим водорослями. Залезть на него удалось только со второй попытки, ценой расцарапанных колен и порезанной ступни. Вот я и сижу на его вершине, где места только на одного человека: голая, мокрая, мгновенно замерзшая, с зябко напрягшейся грудью...

И чувствую себя дура душой...

Не тyani. Делай то, зачем сюда явилась. Отступать некуда. Если сомневаешься, погладь голени, уже на треть обросшие рыжей шерстью, такой же мокрой сейчас, как и ты вся.

Я легла на живот, едва не свалившись, зачерпнула горсть морской воды, осторожно уселась снова и сделала большой глоток. Вода была холодной и горько-соленой – а какой же ей быть в осеннем море? Рот обожгло, я закашлялась до слез.

– Татьяна-моряна! Татъя-а-ана-а-а-моря-а-ана-а! Татъя-а-а-а-ана-а-а-а-моря-а-ана-а-а-а!

Ничего не случилось. Я сидела на холодном камне посреди осеннего моря, голая, мокрая и замерзшая, – чувствуя себя одинокой, брошенной всем миром и обманутой. И мучительно пыталась припомнить, можно ли позвать моряну еще раз.

Она возникла передо мной внезапно, словно сгустившись из темноты, чуть светлее и прозрачнее той тьмы, что окружала нас обеих, висела над ночным морем и была им самим. Пожалуй, я поняла бы, что это она, даже если бы не знала. Она не изменилась: то же худое остроносое лицо, куриная тонкая шея, плоская грудь, открытая глубоким вырезом того самого безвкусного платья, в котором она выплясывала на медицинском убогом корпоративчике под «Все будет хара-шо!» неувядаемой Верки Сердючки. Но профессионально натренированная зрительная память говорила: то, да не то... И была права, как всегда. Другими стали ее глаза. Ни белков, ни радужки, ни зрачка не осталось. Между веками была та же тьма, из которой состояла вся она, только еще гуще, еще темнее, пронизанная точками света – как звездное небо, как море, в котором оно отражается.

Моряна казалась маской, сквозь прорези которой смотрит само ночное море, частью которого она стала. Если бы оно могло смотреть, то смотрело бы точно так же: холодно, отстраненно, безучастно. Что ему до меня? И что я по сравнению с ним?

Надо было заговорить, но обожженное соленой водой горло не подчинялось. Что сказать? «Здравствуй» – покойнице? «Доброй ночи» – а какая ночь может быть для нее доброй? В голову ничего не приходило. Я молчала, скорчившись, обхватив подтянутые к животу колени, чтобы мерзнуть хоть чуть-чуть меньше. И она молчала, стоя на водной глади в метре от камня, чуть покачиваясь на мелкой зыби – страшноватая Фрези Грант...

Но первой заговорила моряна:

– Зачем звала? Чего надо?

Вся заранее подготовленная речь вылетела из головы. Я сбивчиво заговорила, что становлюсь лисой, обрастаю шерстью, что стану оборотнем и переживу своих детей...

Что хочу остаться человеком.

– Лисой делаешься? Не хочешь, а делаешься?

Голос ее был таким же холодным, как море. И звучал размеренно, как прибор.

Я смогла только кивнуть.

Моряна гибко наклонилась, зачерпнула горсть воды, проглотила ее и неожиданно очень человеческим жестом утерла рот сгибом запястья.

– Хочешь человеком остаться – обрадуйся, что оборотнем становишься, – сказала она через несколько секунд молчания. – Да не один раз, а трижды. А четвертый раз пусть обрадуется тот, кто тебя любит, – от всей души. И не тяни, время твое уходит.

– Как – уходит?

– У тебя на все про все сорок дней – с того дня, как лиса тебе свою суть лисью передала. Потом дорожки назад не будет.

Показалось, что ночное небо обрушилось на меня всей тяжестью. Сорок дней, и семь из них уже прошли! Как я могла откладывать и тянуть, почему не подумала, что если у превращения есть начало, то будет и конец, и он может быть так близко? Значит, сейчас надо узнать как можно больше.

– А вдруг недостаточно обрадуюсь? Как я узнаю?

– Кафе «Золотая рыбка» знаешь? Около него сидит паренек, сувенирами торгует – ну, всякой там дрянью. Он тоже из ваших. Купи у него кораблик с тремя мачтами, что даст, то и бери, да не торгуйся. Если обрадуешься как надо, одна мачта отвалится. А на четвертый раз кораблик и сам рассыплется. Так и узнаешь, что получилось – или нет. Поняла?

– Поняла, – ответила я, едва шевеля губами от холода и нарастающего чувства безнадежности. – Спасибо тебе. Поплыву теперь обратно.

– Рано собралась. Я тебе помогла, а ты мне?

– Чем же я тебе помогу?

– Мне-то нечем. А вот девкам моим помоги. Слышала небось, что бабы болтали?

Впервые ее интонации стали похожи на человеческие, когда она упомянула о дочерях.

– Слышала что-то, но толком не поняла, о чем речь.

– Домишко свой, что от бабки еще остался, я продала, хотела квартиры купить в том доме – себе и девкам. Уболтал Пахан-то наш, сука... Сестра пустила к себе пожить, пока дом не построится, а он еще и не начинался, сама знаешь...

Я молча кивнула. Уж кому и знать, как не мне...

– Ну, она терпела-терпела, почти два года, и в конце концов сказала, что пора и честь знать. Я к нему, к Пахану-то, пробилась на прием, просила деньги вернуть, а он в глаза мне засмеялся: будешь вкаты, говорит, тебя и не найдет никто... Тут у меня резьбу и сорвало. Думаю, пусть не найдут, только я сама это сделаю, а не твои быки. Вот так, а дальше сама знаешь. Выбей из него, гада, мои деньги, купи девкам жилье. Такое тебе условие.

– Ты что, я и свои-то деньги выбить не могу. И юрист говорит, что дело дохлое.

– Пообещай, а то я тебе покажусь.

– Так ты и так показалась, пришла.

– Нет, это не то. Вот так...

И тут она мне показалась. Не тот, пусть потусторонний, но все же близкий к человеческому облик, который я видела до сих пор, а то, что лежало где-то на дне, обмотанное тяжелой

цепью, во власти разъедающей морской воды, острых камней и крабов. Я едва успела зажать рот рукой, мучительно борясь со рвотой.

На судебке я никогда не падала в обморок, хотя там бывало всякое. Но первого утопленника, выплюнутого морем почти через месяц после смерти, увидела, когда мне не было пяти лет. Успела добежать к чему-то черному, лежащему в пене прибоя, чуть раньше, чем отец. Думала, что это дельфин ко мне приплыл, уж очень этого хотелось.

Месяц потом я не могла уснуть или кричала во сне, не в силах избавиться от мгновенно впечатавшейся в память картины: голова без лица, без глаз и волос, облепленная водорослями, как жутким зеленым париком, руки без кистей... Дальше отец сгреб меня в охапку и вдавил мое лицо себе в грудь.

– Нечего сказать, свозили ребенка на море оздоровить, того гляди зайкой станет, – сказала бабушка.

Мать плакала и оправдывалась. Отец хмуро молчал. Кто из них троих нашел, выцепил во врачебной паутине однокурсников, коллег, учителей и учеников улыбчивого детского психиатра Льва Наумыча, лысого как колено? Я напрочь забыла, как он со мной работал, что делал и говорил. Только запомнилось, что позволял хлопать его по блестящей розовой лысине – почему-то это приводило меня в щенячий восторг. Так я узнала, что бывают врачи, с которыми можно

играть. И еще одна гирька легла на весы, на которых взвешивалась моя судьба, – те самые, аптечные, прадедовские, купленные сразу после получения врачебного диплома в девятьсот пятом году. Прадед брал их на каждую войну: японскую, Первую мировую и Гражданскую. Мне давали с ними поиграть, если родители и бабушка были мной особенно довольны. Не за то, что я была послушной – это слово в лексиконе нашей семьи отсутствовало. Если толково отвечала на вопросы по прочитанным книгам, могла подтянуться или отжаться на раз-другой больше, чем на прошлой неделе. Если чисто вымыла полы или приготовила что-нибудь съедобное... Много было разных причин, по которым я получала в свое распоряжение весы в исцарапанном кожаном футляре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.